

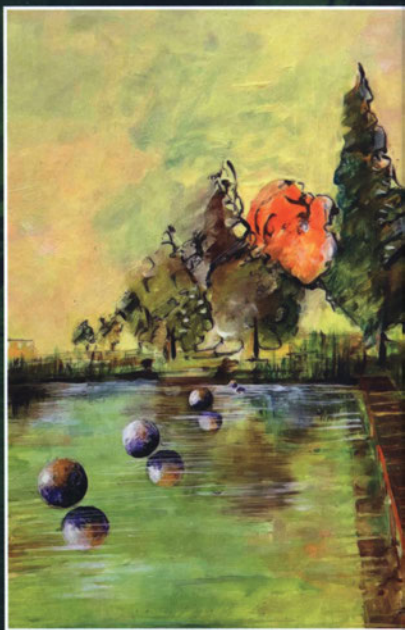
Блаже Миневский

Блаже Миневский

ФАНТОМНАЯ СТОПА

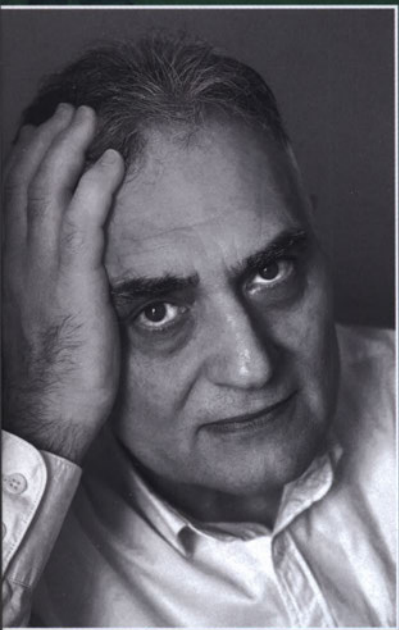


МАКЕДОНСКИЙ
РОМАН
XXI ВЕКА



ФАНТОМНАЯ СТОПА

МАКЕДОНСКИЙ
РОМАН XXI ВЕКА



Блаже Миневский

Македонский писатель, автор восьми романов и трех сборников рассказов.

Окончил юридический факультет Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье. Работал журналистом. Член Союза писателей Македонии.

За роман «Мишень» (2007), ставший «Романом года» по версии газеты «Утрински весник», Блаже Миневский получил награды «Стале Попов» Союза писателей Македонии и «13 Ноября» города Скопье.

Роман «Фантомная стопа» (2020) – первая книга Блаже Миневского на русском языке. В серии «Македонский роман XXI века» – шестая.





ЦЕНТР КНИГИ РУДОМИНО

МАКЕДОНСКИЙ РОМАН XXI ВЕКА

Блаже Миневский

ФАНТОМНАЯ СТОПА

Перевод ОЛЬГИ ПАНЬКИНОЙ

МОСКВА

ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА

2022

УДК 821.163.3

ББК 84(4)-44

М61

Автор проекта «Македонский роман XXI века» **Ольга Панькина**

Ответственный редактор **Юрий Фридштейн**

Дизайнер **Петр Бем**

В оформлении переплета использован фрагмент картины

Владимира Темкова «Краски неба, воды и земли»

Перевод выполнен по изданию:

Блаже Миневски. *Фантомско стапало*. Скопје: Матица, 2020.

Издательство благодарит Министерство культуры

Республики Северная Македония за участие в финансировании книги



Република Северна Македонија

Министерство за култура

Издано при поддержке Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Миневский, Блаже.

М61 **Фантомная стопа** /Блаже Миневский ; пер. с макед. О. Панькиной. — Москва : Институт перевода : Центр книги Рудомино, 2022. — 272 с. — (Македонский роман XXI века).

ISBN 978-5-00087-213-0.

Прозанческое произведение Миневского можно определить, как роман о том, чего у нас нет, хотя мы думаем, что оно у нас есть, или как роман о реальном отсутствии и фиктивном присутствии! История, которая простирается от границ реального мира до глубокой иллюзии существования. Переплетая судьбы тех, кто реально отсутствует, и тех, кто фиктивно присутствует, и наоборот, Миневский в своем романе, используя оригинальную стратегию остроумных поворотов и метафорических ассоциаций, выстраивает увлекательную повествовательную структуру, которую можно назвать «фантомной реальностью», строя ее на нескольких уровнях повествования, начиная с того, чего у нас нет и о чем мы думаем, что оно у нас есть, и заканчивая тем, что у нас есть, хотя фактически этого нет.

УДК 821.163.3

ББК 84(4)-44

ISBN 978-5-00087-213-0

© Блаже Миневски, 2020

© Панькина О. В., перевод, 2022

© Оформление. АНО «Институт перевода», 2022

© Издание на русском языке. ООО «Центр книги Рудомино», 2022

Роман о существовании вне существования

В настоящее время, когда мы думаем, что весь мир наш, хотя на самом деле ничего нашего в нем нет, люди живут больше тем, чего у них нет, чем тем, что у них есть. Мы хотим того, чего у нас нет, забывая о том, что у нас есть. Вот почему в самом вступлении к «Фантомной стопе», в эпиграфе за подписью главного героя, представляющего себя «народным мыслителем», говорится: «Когда-нибудь у нас не будет того, что у нас есть, но мы будем думать, что то, чего у нас нет, у нас есть, как я думаю сейчас, что у меня есть стопа, которой у меня нет».

В этом контексте роман можно определить, как историю о том, чего у нас нет, а мы думаем, что оно у нас есть, или как роман о реальном отсутствии и фиктивном присутствии! Действие романа простирается от края реального мира существования до края вымышленного мира исчезновения. Вот почему главный герой, живущий без одной ноги, но ведущий себя так, как будто он никогда не терял ногу, настаивает на том, что «когда мы что-нибудь теряем, ум продолжает думать, что оно все еще есть. ...Дело в том, что мозг признает только идеальное состояние реальности. Мозг работает по плану, заложенному

в голову. И когда тело уже наличествует не полностью, остается запись, что оно целое; ничто не может исчезнуть навсегда».

Как известно, «фантомная боль» — это состояние, при котором человек чувствует боль в части тела или органа, которого физически больше не существует. Раньше считалось, что это явление имеет исключительно психологическую природу, но сегодня известно, что оно происходит вследствие перестройки головного мозга. По этому поводу еще в 1551 году французский военный хирург Амбруаз Паре писал, что «солдаты, которым была проведена ампутация, долгое время потом ощущают боль в удаленной части ноги». Имеются данные, что около восьмидесяти процентов людей испытывают «фантомные боли» спустя долгое время после ампутации, а у девяноста пяти процентов такое чувство возникает сразу после ампутации. Интенсивность и продолжительность боли варьируются от человека к человеку. При этом у каждого из них разные ощущения: от чувства, что отсутствующая часть тела тяжелее, что она движется, что ощущается тепло, покалывание и онемение в той части конечности, которой уже нет, или у них такое ощущение, что нога, которую ампутировали, каким-то образом сама укоротилась. Боль может быть спровоцирована изменением погоды, давлением на оставшуюся часть ноги или эмоциональным стрессом.

Главный герой романа «Фантомная стопа» спустя долгое время после потери стопы ощущает

эту часть тела как реальность, потому что мозг «дополняет» карту нашего существования импульсами из других областей тела. Словно некий мудрец, который движется среди людей на своем патриаршем престоле, шедевре резчиков по дереву, превращенном в инвалидную коляску, он считает, что все живое должно пройти через страдания, если не сегодня, то завтра, но это не значит, что надо этого бояться и предаваться унынию и отчаянию. Переплетая судьбы реально отсутствующих с фиктивно присутствующими и наоборот, используя оригинальную стратегию остроумных поворотов и метафорических ассоциаций, главный герой и рассказчик выстраивают увлекательную повествовательную структуру, которую можно назвать «фантомной реальностью», прочитываемой на нескольких уровнях повествования, начиная с того, чего у нас нет и про что мы думаем, что оно у нас есть, до того, что у нас есть, но чего на самом деле нет. При этом в повествовании полно событий, которые происходят в том, что у нас может быть, но также и в том, чего у нас больше нет. В этом смысле одним из метафорических отражений этого нарративного симбиоза «присутствия как отсутствия» и «отсутствия как присутствия» является актуальное состояние, в котором мы живем, думая, что имеем то, чего не имеем, поэтому у нас чешется то, чего у нас нет, как будто оно на самом деле у нас есть.

В построении глобального «фантомного мира» вокруг нас помимо рассказчика с «фантомной сто-

пой» участвует нарративный пласт, в котором действует предметный и растительно-минеральный мир, и с его помощью история рассказывается изнутри, из сердца бытия, фиксируя жизнь такой, какой она помнит нас, притом, что мы ее забыли. Таким образом, фактически, восстанавливается, сохраняется и защищается жизнь из самого сердца существования, и вместе с ней доверие к рассказанному и изображенному, т. е. только то, что рассказано, навсегда фиксирует то, что было, как будто оно не ушло в прошлое. Если бы я попытался определить суть романа одним предложением, я бы сказал, что «Фантомная стопа» — это роман о существовании вне существования.

Блаже Миневский

Фантомная стопа

КОГДА-НИБУДЬ У НАС НЕ БУДЕТ ТОГО, ЧТО У НАС ЕСТЬ.
НО МЫ БУДЕМ ДУМАТЬ, ЧТО ТО, ЧЕГО У НАС НЕТ.
У НАС ЕСТЬ, КАК Я ДУМАЮ СЕЙЧАС, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ СТОПА,
КОТОРОЙ У МЕНЯ НЕТ.

Миле Пейкуре,
народный мыслитель

Он знал, что в голове, где-то слева или справа, неважно, находится план жизни, такой, какой она была задумана до того, как мы стали людьми. Этот план изменить не дано никому. В соответствии с ним у нас есть два уха, две руки, две ноги. И нога остается ногой на всю жизнь.

— И выходит, что у меня есть ступня, хотя людям кажется, что ее нет, — объяснял Миле Пейкуре. — Ну, и так далее. В общих чертах, конечно. Я — результат того, о чем я думаю. Ясно? И нечего кивать, когда не понимаете, — говорил он, сидя как патриарх среди огурцов. — Дай вон тот для примера, сначала сравни, а потом измерь.

Мерили и другие, но огурцы были поменьше. Тогда я увидел, что Миле Пейкуре обошел самый большой на два пальца. Я не мерил, стеснялся бабочек, но позднее понял, что на самом деле он хотел освободить нас от стыда, удалить из нас то излишнее, чего не заложено в плане.

— Стыд — это результат вмешательства цивилизации, — произнес он однажды. — Ну, взять,

например, время. Оно оставляет свои заметки на полях книги жизни.

— Ладно, положим, что так оно и есть, — размышляю я, — но если так, то — когда же мы начинаем стыдиться? Может, как только начинаем завидовать, — говорю я себе, возвращаясь к огурцам. Я стараюсь посмотреть на все происходящее со стороны и задаюсь вопросом: Так что мы из себя представляем? То, что мы скрываем от себя, или то, что мы скрываем от других?

И тут, как по команде, все, кто был в огороде попа Шако, один за другим, подвязав кушаки, уходят.

По дороге Миле Пейкуре, сидящий на своем резном стуле — в самодельной инвалидной коляске, поворачивается ко мне и спрашивает:

— Что есть тело?

Я хотел было ответить, что не знаю, но промолчал.

— Да он не знает, — сказала за меня веточка, хлестнув меня по губам.

— Тело — идеальный образ природы, — произнес тут Миле и выдохнул так, как будто только что вынырнул из воды. — Каждая его часть зашифрована в плане, вот тут, — сказал он и постучал по лбу указательным пальцем. — И та, которую видно, и та, которую не видно. Когда мы что-нибудь теряем, ум продолжает думать, что оно все еще у нас есть. Понимаешь, дело в том, что мозг признает только идеальное состояние реальности. Мозг работает

по плану, заложенному в голову. И когда тело уже наличествует не полностью, остается запись, что оно целое; ничто не может исчезнуть навсегда. Вернее, ничто не может укрыться от того, кто умеет видеть то, чего не видно. Вот, к примеру, скажу, что зазря мы тут огурцами мерились! Я и так точно знаю, у кого какой, определяю по носу и пальцам. Длинный нос и длинные пальцы — длинная шишка; короткий нос и короткие пальцы — короткая; длинный нос и короткие пальцы — средняя! Если нос картошкой, шишка толстая; если нос острый, как у Стамата Дракона, то штука, о которой идет речь — как червячок! Если большой палец такой, как у меня, похожий на гриб, то значит ножка тонкая, а головка большая! Если у кого губы толстые, как у попа Шако, будь уверен, что у него лежит, свернувшись калачиком! А иначе — что бабы забыли у него в часовне? Ясно, что он выпячивает эту штуку под епитрахилью, чтобы они совали головы в его берлогу, — произнес он решительно и уставился в зеркальце. — Поп думает, что ухватил Всевышнего за бороду, ничего не стесняется, ни стыда, ни совести не имеет, — сказал он. — А стыдиться надо не того, что есть, а того, чего нет, — добавил он. — И я не только про мужчин, я и про женщин все знаю, — заметил он. — Вот, например, если у бабы глаза большие, обволакивающие — в улье мягкое ватное гнездо! Ты видел, какие глаза у Маргаритки Брюхозадовой? Ну, вспомни, какие они, — говорил он, отмахиваясь от мух,

вьющихся вокруг нас. — А какие буйные заросли у нее под пупком! Ничто не может скрыться от того, кто умеет читать план, находящийся в голове. Если веко тонкое, то ущелье, как на реке Блайд... Ты заметил, какие веки у Меглены? — спросил он, поглядев в сторону деревни.

В этот момент над нами с пением пролетел жаворонок. Песня словно подняла моего друга с места.

— Жаворонки, — сказал он, — подарили музыку богам. Когда-нибудь я себе на руке, посмотри, вот здесь, у локтя, сделаю татуировку жаворонка — трясохвоста белогоного, чик-чирик, тюрлю-лю, курлы, эй! Чтобы окружающие знали, с каким спецом они имеют дело. Кроме прочего, я ведь умею летать, чтобы жить, и умею говорить, чтобы выживать, — сказал он и поднял руку, чтобы показать жуку, что путь свободен. — Ладно, о моих полетах чуть позже. Пока что — о даре рассказчика, — сказал он, подавая мне сигнал, что пора ехать дальше.

— Когда ты начал рассказывать? — спросил у Миле кузнечик из куста шиповника. — Или, вернее, болтать, — поправился он.

— Что значит болтать? — отреагировал он.

— Ну, балаболить, — проскрипел тот, прячась в зарослях.

Я хотел шугануть его, но опустил руку.

— Я скажу тебе, — сказал Миле, отвечая на вопрос кузнечика. — Я стал говорить вслух, еще когда мерил его стручком.

Не знаю, как прокомментировал это кузнецик; я же не сказал ничего. Я был занят тем, что усердно толкал коляску по пыли, как тотем, стараясь вкатить ее на склон перед нами.

— Когда я начал балаболить, я понятия не имел, что умею летать, — продолжал Миле, помахивая штаниной. Теперь он обращался к мухе: И сейчас никто, кроме тебя, не знает, что я летаю!

— Может, мне полететь, чтобы доказать, что я умею летать, или просто рассказать, чтобы ты поверил, что я умею летать, — спросил он.

— Говори, что умеешь, — прожужжала муха в очках. — Только не привирай, — добавила она, взлетая с коровьей лепешки.

Признаюсь, он был прекрасным рассказчиком; у меня такого дара совсем не было; я только слушал других, тех, кто был рядом, а потом пересказывал, как будто это было моим.

— Когда односельчане засыпали и храпели на своих сенниках, когда собаки переставали брехать под стрехами, — говорил Миле, — я забирался на второй этаж, хотя скорее это был не второй этаж, а чердак, и оттуда с легкостью взмывал в небеса, — говорил он. — Бесшумно, открыв от восторга рот, я одолевал двор, поворачивал к бывшему Дому культуры и парил дальше над деревенскими обывателями, долетал до школы и плотины, спускался к домам с облупившимися печными трубами, смотрел, как луна катится по долине к мельницам, раз-

ворачивался у трансформаторной будки с аистовым гнездом на крыше и возвращался назад через тополя.

(пропускать запрещается)

— Да, парил, затаив дыхание, — подтвердила хохлатая кукушка, направлявшаяся к ореховому дереву во дворе попа Шако.

— Когда я парю, я похож на сову.

— Да, похож на сову, — согласилась кукушка, птица, которая не вьет гнезда.

— И подолгу я не летаю, — присовокупил Миле Пейкуре.

— В этом нет необходимости, — сказал лист грецкого ореха, упавший в речку, — тут главное просто потянуться, почувствовать воздух в груди, и чтобы никто не знал, что ты летаешь.

— Правду сказать, я давно уже не летал, — добавил Миле Пейкуре. — А знаешь, легче парить без крыльев, чем с ними. Летать на крыльях — это обычное дело. Впрочем, мой полет — согласно моему плану. Твой полет — согласно твоему. Никто не может этому воспрепятствовать, — продолжал он, время от времени привставая с сиденья. — Когда я просыпался, — говорил Миле, пока мы пересекали речку, — я не помнил, что летал, но помнил все, что видел, пока парил в небе. И знаешь — парят от сча-

стью, от восхищения, от возбуждения, от экстаза, а летают от печали, от отчаяния, от боли, от муки, от страдания, от скорби, от горечи, от тоски, — закончил он уже перед продуктовой лавкой.

Миле Пейкуре был старше нас, старше любого в деревне, хотя никто не мог точно определить его возраст по его виду. Он бросил школу, говоря, что страдает от недостатка любви, а на самом деле ушел с головой в книги, плесневевшие в шкафах Дома, те, к которым никто не хотел даже прикасаться, не говоря уж о том, чтобы их читать. И кто тогда мог знать, что Миле Пейкуре закончит так, как он закончил, а я буду единственным свидетелем, точнее виновником, этого. И как я мог знать, что с ним будет связано столько всего, чего я никогда не смогу забыть.

После смерти отца он переехал в город.

Учиться он не хотел; говорил, что ему нечему учиться.

Работал в киоске под явором и знал все обо всех.

Но об этом позже.

(незаметная капля кофе)

Сейчас про то, что остается навсегда, потому что план хранит это в голове, чтобы оживить, когда решит, что это необходимо.

Пыльная тропа спускается к колодцу Кромовых и поворачивает к Дому, тому, что остался после

развала коллективного преобразования села и где в то время был единственный радиоприемник, которым умел управлять только Миле Пейкуре — он включал и выключал его где-то сзади, и никто другой не вмешивался в его работу.

— В два часа ночи будут передавать бокс. Приходи послушать, как будут драться, — говорит он, отодвигая ветки деревьев, обрамляющих дорогу к реке.

Миле Пейкуре потерял левую ступню еще до того, как научился ходить. Он ползал по двору, и свинья, убежавшая из свинарника, отгрызла ему ногу по щиколотку. В тот день его мать уехала в город, она терпеть не могла, чтобы ее считали бездеятельной — камнем, под который вода не течет, а отец работал, думая, что сын спит в колыбели под виноградной лозой. Свинья спокойно сделала свое дело. Когда отец Миле Симон, камнерез, вернулся во двор с известняковым крестом в руках, Миле уже стал калекой.

Глядя на него в таком виде в каталке, я не раз думал, что другой, скорее всего, никогда бы не простил своих родителей, да и пророчиц, предрекших ему, ребенку, такую судьбу, но Миле Пейкуре был весельчак, он не возвращивал в себе ненависть, ни с кем не ссорился — ни с теми, кто думал, что он большой дурак, ни с теми, кто считал, что он большой умник; он не спорил даже со Стаматом Драконом, хотя тот доставал его своими выходками.

Однажды Стамат залез на бревно и замахал руками, привлекая к себе внимание:

— Дорогие придурки! Будущее бесконечно! Пяльтесь в горизонт! И не моргать! Именно там убили героя из героев, чуть ли не героя века, который среди можжевельников, рядом с шиповником боролся за свободу и человеческие права. У тех камней, называемых Черные скалы, убили его, а слева, чуть ниже — того-то и того-то, справа от него того, кто их предал, а выше, у вершины, того, кого замочили из засады. А вокруг красота! — говорит он, а мы вертим головами как марионетки, словно он тянет за веревочки сверху. Стоя на цыпочках, мы почти ничего не видим там, куда он указывает, что уж говорить о Миле Пейкуре, сидящем в инвалидном кресле.

— Какая красота! Видишь? — спрашивает Стамат. — Ничего ты не видишь, — заявляет он, размахивая руками, словно собираясь взлететь. — Слева от этой скалы друг друга резали черные и красные, чуть ниже белые и зеленые, а еще чуть ниже — пестрые и загорелые! Между этими двумя холмами, которые словно два черепа, ну, посмотрите туда, резали друг друга черные и белые, а чуть повыше — синие и серые! Одним словом, невиданная красота, товарищи придурки! Не моргай, смело гляди в будущее! Все увидят будущее! Кроме тебя, конечно. Зачем тебе будущее? — закончил он и стукнул Пейкуре по темечку. И снова Миле ничего не ответил, промолчал, хотя тот и заслужил, чтобы его послали куда подальше.

Поверьте, Миле Пейкуре хорошо разбирался во всем, что существует на свете, очень любил рассказывать, и его рассказы были не ветер и туман, их можно было ощутить, потрогать.

— Ни одно слово нельзя оставлять без внимания, — говорил он, ища собеседников среди все понимающих светлячков у плотины.

Он мне объяснил, что светлячки светят совсем не для того, чтобы кто-нибудь на них посмотрел, а для того, чтобы найти себе пару. Иногда Миле часами разговаривал с этими мерцающими в темноте насекомыми. И улыбался сияющей улыбкой.

Неожиданно в колесо коляски попала ветка кустарника, поэтому мне пришлось остановиться, чтобы ее вытащить. В тот же момент ветка запела: ***Соловей поет в лесочке, девица сидит в садочке. Просит соловей: вдвоем, девица, давай споем.***

Миле Пейкуре, надо отметить, был большим любителем пения. Его не приходилось долго уговаривать. Стоило только сказать: Ну-ка, спой, черт тебя побери, как начинался такой поток песен, какой просто нельзя было себе представить: ***Яна, Яна, ай-люлю, Яна, я тебя люблю***, или: ***Пожалей меня, милая, ох, поплачь обо мне, я иду воевать во чужой стороне!*** Когда я спрашивал Миле, откуда он знает столько песен, как ему удалось все их выучить, он вздыхал, приоткрывал рот и начинал шевелить губами, будто считая.

— Сами выучиваются, — говорил он.

У него и дед очень любил петь. Звали его Драго Дундар, он был коновал, так сказать, ветеринар средней квалификации. И большой шутник, весельчак; устраивал представления для зевак. Как будто играл на скрипке — водил рукой туда-сюда, якобы, пилил воздух, а на самом деле издавал звук ртом и носом. Что тут скажешь, в роду Пейкуре все были странными.

В тот момент, когда я приподнимал передние колеса, чтобы ввезти коляску во двор, он подергал меня за рукав, сказав, чтобы я обязательно пришел в два часа ночи в Дом — послушать трансляцию матча века, чтобы я не упустил такой случай, и потом исчез за скрипучими воротами. Во дворе его отец тесал какой-то большой камень. Может быть, крест для того, кто так неожиданно-негаданно отдаст концы, что некогда будет его вытесывать.

Тогда в деревне, как я уже говорил, был Дом, как и многое другое, чего давно уже не существует, и в нем, в Доме, в одной из комнат, был радиоприемник, стоявший на подоконнике рядом с дверью. Сначала за него отвечал Драган Галун, но позже, с благословения попа Шако, им стал заниматься Миле Пейкуре. И делал он это с удовольствием. Без него ничего не начиналось. Припарковав кресло-коляску около шкафа, а точнее — окна с закрытыми ставнями, он вращал ручку, чтобы передвинуть указатель настройки на шкале, регулировал звук и тембр.

Когда я вошел в комнату, он достал из коробки сверчков, положил их в банку без крышки, поставил банку перед радио и включил приемник. Мы слушаем комментатора, следим за сверчками на дне банки и болеем. Я помню все, как будто это было вчера: Клей выскакивает на середину, а Фрейзер стоит в углу, ожидая, когда матч наконец начнется. Сзади зеленый магический глаз моргает в такт с голосом комментатора, освещая паутину. В окно над приемником, настроенным посвистывать в такт радиоволнам, светит луна, и иногда видно, как летучая мышь слетает с колокольни, мечется в воздухе и исчезает за крестом. Проходит несколько раундов, и в какой-то момент лишь гонг спасает Клея от катастрофы; сверчок, что побольше, стоит, прилепившись к углу банки и сучит ногами; я протираю глаза и вижу луну, как она скрывается за колокольной. В это позднее ночное время слушатели, если и покашливали, то делали это тихонько, с осторожностью, а комментатор описывал все, даже трусы боксеров; ему было непонятно, что на них было написано, **PUMA** или **РИМА**, хотя можно было обойтись и без этого; сверчки же о трусах понятия не имели.

(меры предосторожности)

На некоторое время глазок перестал мигать, и в тот момент Миле Пейкуре свистнул как воробей. Сверчки подогнули ноги, потому что они слушают

коленями, потом запрыгали и начали бить друг друга антеннами.

— В мире это называется телевидением, — сказал Миле Пейкуре. — Смотришь и слушаешь одновременно, — добавил он, глядя на банку. Воробьиный свист в данном случае — это как свисток судьи. Когда большой сверчок в дальнем углу склянки упал, Миле Пейкуре засуетился в коляске:

— Черт побери, ну и Клей, ну и везунчик! — воскликнул он, схватил банку и выключил приемник. И все остальные повскакивали с мест, чтобы идти по домам; им не верилось в то, что случилось с Клеем в первом бое с Фрейзером.

Молча, как немой, Шишко Шишман пошел по проулку за церковью, а я последовал за ним, конечно, чуть приотстав, чтобы он не подумал, что я боюсь. Мы прошли мимо церкви, миновали кладбище, повернули к столбу с лампочкой наверху, а потом вышли на тропинку, которая вела к нашим домам. Была полная луна и светло как днем. Я видел, как Шишман пожимает плечами. Когда он вышел на ровное место, то повернулся вправо, приостановился, наклонил голову, как бы прислушиваясь, я думал, что он обернется, но он просто посмотрел на луну, покачал головой и пошел дальше. Перед тем как войти во двор, он повернулся и осклабился, ничего не говоря, просто стоял и смотрел, подняв голову и открыв рот, как будто хотел укусить луну. Тогда я понял, что его фигура

не отбрасывает тени. Кто знает, как долго я, дрожа, стоял у ворот...

Когда я проснулся, был уже полдень. Бабушка Энка занималась цветами. Поглядев на меня, она сказала:

— Не удивляйся, все, что ты видишь, что-то значит, нужно на все обращать внимание.

Бабушка плеснула водой себе в лицо, накинула платок, завязала его под подбородком, взяла цветы и затараторила, часто моргая:

— Шишко Шишман умер вчера вечером, около полуночи; я на ночное бдение не ходила; сегодня его хоронят.

Она перекрестилась и вышла через калитку.

Может быть, все было не так, может быть, страх, который я нес с собой, как тень, смешал время так, что то, что произошло позже, поменялось местами с тем, что произошло раньше. Наверное, то, что мы придумали, помнится нам отчетливей, чем то, что было на самом деле, — говорю я себе сейчас, глядя в правый верхний угол листа. Тогда же, там, перед воротами, я замер, ошарашенный, увидев, что у меня не было тени! Я оцепенел от ужаса, по спине побежали мурашки. Я подумал, что надо бы присесть у колодца и направился к нему, но когда сделал первый шаг, вдруг понял, что сейчас полдень, и что тень спряталась у меня под ногами.

*(загнувшийся правый верхний угол
страницы)*

Слава богу, у меня было две ноги, а у Миле Пейкуре только одна, по крайней мере, так оно выглядело, хотя он никогда с этим не соглашался, потому что не признавал, что существует только видимое. По мнению Миле, жизнь — это не только то, что видно.

— Жизнь нужно прожить, черт побери! Какая ни на есть, — говорил он, — вот она, она есть, хочешь ты этого или не хочешь. Жизнь вообще не проблема; тяжело не от жизни, тяжело от памяти. Больно не от того, что пережито, а от того, что не забыто, — так говорил Миле Пейкуре. — И знай, все мы рождаемся с идеями любви и правды, а растем с сомнением, завистью и трусостью, чтобы стать исполнителями, прислужниками и циниками. Такова жизнь!

Закончив так свою речь, Миле въехал в ручей, чтобы вымыть от пыли колеса коляски, и, неизвестно почему, вспомнил семнадцать голов на церковном дворе. Сказал, что сына одного из обезглавленных заставили, хотя ему было всего десять лет, три дня стоять перед головой отца, насаженной на кол перед деревенской бойней.

Раз уж мы вспомнили про бойню, надо сказать, что это была не настоящая бойня, а просто балка с крюком, выступавшая из амбара Кромовых. На эту балку вешали освежеванных птиц; в воздухе пахло кровью, под стрехой жужжали мухи, а Стамат Дракон

за поденную плату и требуху, как умел, рубил мясо. Шматы заворачивали в бумагу, собранную в кабинетах Дома; на мясе отпечатывались буквы с графиками, так что на каждом куске было что почитать. Однажды я прочитал: «Зарезал своего сына и съел его лицо!» Кто мог написать такое в канцелярской тетради, — подумал я. А теперь попробуй, не пугайся, проходя мимо церкви! Так и видишь головы без лиц, парящие перед тобой с улыбками до ушей. Одна с волосами, как щетка, кружится в воздухе и говорит мне:

— Слушай, парень, я был свидетелем, я знаю, как это произошло!

— Бои начались третьего августа около полудня и продолжались до поздней ночи. За эти несколько часов, — говорил Миле Пейкуре, — были убиты семнадцать бойцов из отряда Юрукова и двадцать два башибузука. Остальные перебрались через большую реку, ту, что впадает в озеро, и на рассвете достигли села Копришница. Вот как это было. Между тем, Никола Илиев сообщил, что среди убитых есть двое наших людей. Тогда Муса-бей приказал собрать все головы в две корзины, погрузить их на мула и привезти в деревню.

— Я одна из тех голов, — сообщает череп, который следует за мной, когда я бегу по переулку. — Я — доказательство того, что все это было на самом деле! — говорит череп.

Если бы Миле Пейкуре знал, что мне становится страшно от таких его рассказов, он бы внес

меня в свой список слабаков — «никчемных», как он их называл.

По словам Миле, отрубленные головы были выстроены в ряд на затворных щитах канала. И именно тогда произошел тот случай с сыном Глигора Поп-Ристова, маленьким Йованом, отцом Шишко Шишмана, земля ему пухом. Мальчика заставили опознать голову своего отца. Потом ему пришлось смотреть на нее три дня, не двигаясь, а был август и ужасно жарко; даже птицы не могли летать от зноя. Через три дня бандюк, который их охранял, разрешил снять головы с кольев. Их похоронили у церковной ограды под липой. Эта липа все еще здесь, во дворе. Маленькому Йовану по ночам снился его отец, пытающийся вернуться, но человек без головы не видит и не слышит — как он может это сделать! После такого Йован потерял сон — и разу не заснул, не закрыл глаза. В последующие дни люди долго искали тела убитых на холмах, но так и не нашли.

— Головы ждут, — говорил Миле Пейкуре.

И я знаю, что они ждут, тут и говорить не о чем, я и сам не раз видел, как они выстраиваются в ряд, и светлячки пролетают сквозь их глазницы. Я стараюсь как можно быстрее пробежать десяток метров мимо них, прежде чем свернуть в переулок.

Миле Пейкуре все истории рассказывает так, как если бы он был их очевидцем и захватил с собой что-то с места события в качестве доказательства. Вот когда он говорил о партизанах, он вынимал что-то

из переметной сумы, висевшей на коляске, и стрелял в сыча, при этом делая губами: пуф, пуф. Я уверен, что какая-нибудь птица при этом падала в полете, я даже не сомневаюсь в этом.

— Тут и бежать проверять не стоит, — говорил я себе.

После всех смутных, трагических познаний, которые волей-неволей собирались в моей голове, пока я толкал по деревне коляску со своим всеведущим другом, или, скорее, гуру, подремать под стрехой было для меня наградой за мой труд, мое хорошее поведение. И чего мне только во сне ни виделось! Вот я встречаю Стамата Дракона с кусками мяса в руке. Кровь капает в пыль, а он машет ими, как кадиллом: «Ты ел потроха, какого животного, какие они на вкус?» — спрашивает он меня и хохочет. В этот момент на забор, отделяющий нас от соседнего двора, вскакивает петух, тот самый, что находится под следствием по подозрению в педофилии, и начинает орать: «Все куры должны быть оттоптаны! Яйцо без семени — как орех без ядра», — кричит он, убегая от кошки, крадущейся по навесу. А Баба Энка жарила их на сале, — думаю я. — На всю округу пахло яичницей с салом... На другом конце стрехи снова появляется петух: «Глазунья, ешьте на здоровье!» — кричит он и снова исчезает...

Такие вот шуточки. А если говорить о серьезном, то о нем рассказывало прислоненное к стене тележное колесо. Хотя, если смотреть на вещи с раз-

ных сторон, я уже просто не понимаю, что серьезно, а что нет. Но возьмем колесо. Оно, например, может многое рассказать об Ангелине, самой красивой девушке в деревне, и учителе Каранджулове.

И я слышу:

— Ангелине Поповой было девятнадцать лет, и она была в расцвете юности. О ней говорили, что она освещает деревню, как звезда, что восходит перед рождением дня. Девушка была высокой и гибкой, со светлым лицом, излучающим безмятежность и радость.

— Ее волосы были заплетены в две длинные косы, падающие ей на спину, — сказало колесо.

— Ух ты, какое незаурядное колесо, образно мыслит! — вмешался в рассказ желтый зяблик с черной полосой от клюва до хвоста.

— Когда Ангелина шла с кувшинами к колодцу, то была похожа на горящую сосну, — продолжало колесо. — Мужчины, которые встречали ее на пути, и старые, и молодые, оборачивались, чтобы взглянуть на нее еще раз. И я переставало вертеться, стояло как вкопанное; волы тянули телегу изо всех сил, дрожали от натуги, не могли стронуть ее с места, а я снизу смотрело, как бедра девушки покачиваются на фоне заката. Она была как фея, идущая на цыпочках...

— Ну, хватит про это! — прочирикал со своей стороны зяблик, достаточно осведомленный о событиях в округе, ему ведь приходилось много по ней

кружиться. — Скажи лучше, что время, в которое она жила, и те строгие, принятые тогда, нормы поведения не позволяли Ангелине выбрать суженого по велению собственной души.

— Да, — сказала колесо, — она должна была ждать, что дарует ей судьба. А та сыграла с ней злую шутку. За два года до конца прошлого века в деревню приехал новый учитель, Йордан Каранджулов из села Вербное, что за Плетваром. Это был красивый стройный парень лет двадцати, но рожденный без одной руки. И он, как только ее увидел, сразу был сражен ее красотой, но в то время никакая, даже самая некрасивая деревенская девушка, не хотела выйти замуж за калеку.

Никто, абсолютно никто, — продолжало рассказ колесо, — не мог подумать, что между ними, между Ангелиной Поповой, дочерью Димко Попова, самого видного, самого известного человека в деревне, и инвалидом, учителем Йорданом Каранджуловым, вспыхнет любовь. Через некоторое время ее родители все-таки приняли выбор дочери и согласились отдать ее Йордану, но с этим никак не могли смириться турки — у них было имущество, домабашни, и они приходили в деревню, чтобы полюбоваться на девушку.

Турки были богато одеты — в вышитых золотом жилетах, расшитых галуном домотканых штанах, с четками в руках и наганами за поясом, — сказала колесо, и в этот момент ошалевшее от безде-

лья время вдруг отпихнуло его от стены, и колесо стремглав покатилося по двору. От неожиданности я испугался. У меня заплетались ноги, но я побегал за ним и догнал, поднял его, повесил на гвоздь, успокоил, но рассказ был уже прерван, хотя главное событие оставалось еще впереди. Тут я увидел, как из-за церкви показался Миле Пейкуре, двигавшийся в своей инвалидной коляске с помощью ручки с шестеренкой и цепи, соединенной с осью между задними колесами...

Впрочем, вернемся к рассказу. Нежданно-негаданно в разговор встрял камень с вырезанными на нем буквами. На этом камне бабушка Энка разводила огонь в очаге.

(огороженное время)

— Я смотрел на них с этого же самого места, — сказал он. — Они, все с выбритыми головами-тыквами, обычно стояли рядом друг с другом, твердолобые, как быки, и возбужденно дышали, готовые на все.

— Не преувеличивай, — заметил зяблик.

— Хорошо, — согласился камень. — Иногда, стоя в переулке, вот так, словно вкопанные, турки смотрели, как Ангелина поднимается на балкон. Вот на этот самый. Дом теперь принадлежит Кромовым. Брат Ангелины, Георгий Димков Попов, не мог вынести, что они пелятся на их дом, и однажды

ночью бросил в их башню гранату. А потом ушел в партизаны. После этого случая сестра Георгия, красавица Ангелина Попова, уехала с учителем, а через несколько месяцев у них родился сын-первенец. Его окрестили Георгием в честь брата, но тот так и не увидел племянника. Его, Георгия, убили в Капинове...

Позже, сидя здесь, у очага, знахарка Василка Гюлуткова рассказывала, как Ангелина хвасталась, что чувствует, как ее муж, Йордан, ласкает ее рукой, которой у него нет.

— Важны душа и кровь, если хотите знать, — говорила Василка. — И кровь означает больше, чем кажется.

Так же считала и твоя бабушка Энка, когда, растапывая жир на сковороде, призывала людей:

— Слушайте, что я говорю, чтобы понять то, что я имею в виду. Слушайте внимательно!

— Она и тогда яичницу жарила точно так же, как потом, для тебя, — продолжает свой рассказ камень.

— Неважно, когда понесла, — говорила Василка, — важно, чтоб донесла, главное — чтобы ребенок был телом хорош и собою пригож. А уж я их вынимаю осторожно и старательно, как яйцо из гнезда. И поэтому меня все зовут. Нет женщины, которая бы не опросталась с Василкой. Со мной и страх исчезает, и стыд уползает, — добавила она. — Потому что я Господа обнимаю за шею, — говорила она. — Взаправду.

Одной рукой его, другой — роженицу! А всем женщинам перед родами советую не есть голову животного, чтобы душа животного не вселилась в плод. Есть дети, рожденные с душой свиньи, теленка или петуха, — говорила Василка, сидя на табуретке с тремя ножками у очага.

Когда я чиркнул спичкой и зажег огонь на этом же полукруглом камне, прямо посередине его, во двор въехал на коляске Миле Пейкуре. Въехал со скоростью, невообразимой в обычных условиях, и остановился рядом со мной, рядом с табуреткой. На коленях у него лежала какая-то тетрадка.

— Вот, принес, как и обещал. Почитай! Здесь много чего интересного об Ангелине Поповой, — сказал Миле. — Увидишь, — добавил он, кладя тетрадку в сумку, висящую на его стуле. Немного помолчал, разглядывая камень с хитрыми буквами, который бабушка Энка использовала в качестве очага. Потом вдруг запел: *К водопою, Анга, конь за мной идет. Ангелина, Анга, он воды не пьет. Ох, тоска-кручина, он воды не пьет. Ангелина, Анга, конь копытом бьет. Ох, тоска-кручина, он копытом бьет. И отрыл он, Анга, камень под землей. Ох, тоска-кручина, камень гробовой. А под тем под камнем зеркало лежит, ох, тоска-кручина, правду говорит. На себя смотрю я, разве не хорош, разве не красив я, разве не пригож. Я б женился, Анга, на тебе одной, что же ты не хочешь стать моей женой...*

Огонь в очаге взвился, как будто его неожиданно ткнули шилом.

— Давай, доедай, а потом пойдем за околицу, увидишь, где старик добывает камень для крестов. И на вот, прочитай, — сказал Миле и протянул мне сумку.

— Ты слышал о Василке, — говорю я.

— Какой Василке? — спрашивает он. — Василке Гюлутковой? И слышал, и видел, — отвечает он, вертясь около очага. — Что до Василки, — продолжил он, — если хочешь знать, Василка — это Василка, но поп Шако поважнее будет — он слово Божье нести людям должен. А он ходит по домам, как Василка. Да еще строит из себя не пойми что; он, видите ли, сначала должен покадить, пообедать по-человечески, а потом уж и беременная может немного поесть, но только требухи. Он и Стамат сами ее просто обожают. Обьедаются ею...

Поп Шако говорит женщине в положении:

— Нельзя есть кроличье мясо, потому что ребенок всю жизнь будет спать с открытыми глазами. И будет сопливым. Нельзя есть рыбу ни тебе, ни ребенку, когда он родится, потому что, если съест, то он будет немым, как рыба. Тут много тонкостей. Не просто так. Ноги-то раздвинуть и так далее — легко. Потом сложнее. Ну, раз уж раздвинула, на ковре из козьей шерсти не сиди, чтобы ребенок не родился с волосами на теле. И шиповник! Остерегайся шиповника за домом! Шиповник — штука

опасная. Это куст, меж стеблей которого собираются призраки. И не ходи под стрехой, потому что на ней качаются русалки. Потому что душа тела в крови.

— Какая тут Василка, у Василки нет на это дара; вот поп Шако — это поп Шако, мастер роженице голову заморочить, — добавил Миле Пейкуре, глядя на зяблика, летавшего вокруг, как привязанный.

— И никогда не смотри на гаснущий огонь, ибо может погаснуть жизнь плода, еще не отделившегося от тебя, — говорит поп Шако, сжимая между ног лампаду. — У меня получается, у меня есть авторитет, — продолжает поп Шако, а Симон, мой отец, трудится, не останавливаясь. — Мне раз одна из верхней деревни сказала: «Или ты, поп, или никто, так я скажу. Я, когда восьмым опрастывалась, вся умучалась. Шлепнула его, он и заорал, а у него ни пупок не завязан, ничего, так мучается; я его в чулане родила, в пыли, как будто на улицу выбросила. Как ты думаешь, он будет жить по-человечески или...» Я ей говорю, что он будет жить так, как ему на роду написано. Душа тела в крови, — сказал я и окунул его в купель. А Василка стоит рядом и улыбается в платок под носом! Да, коллега! Я смотрю, а не вижу, — добавляет он, размахивая камилавкой, как веером. — Сколько я их видел, как они из зарослей вылезают, — говорит он. — А Василка, как тебе известно, заставляет их становиться на колени над тазом с горячей водой, чтобы

легче отворялось; иногда дает им дуть в бутылку или кладет им в рот перышко, локон, прядь волос, ну, понимаешь, из ее же волос, из волос роженицы, чтобы вызвать позыв на рвоту, чтобы сильнее ту-жилась, — говорит он и смотрит на крест, который постепенно вырисовывается из камня. Чего только Василка не делали, да простит ей Бог, чтобы ее звали. Не знаю, известно ли вам, коллега, что некоторым, у кого не открывалось, как бы зажатым, она давала пить воду из правого ботинка мужа, чтобы легче рожали. Воняет же, я говорю, а она опять за свое. А почему из правого, спросишь ты, и, раз уж ты спрашиваешь, поп Шако скажет: правый потому, что правая нога важна для движения вперед; левая — для движения назад. Что касается пупка — пупок перевязывают красной нитью. И надо смотреть: если дело ночью, чтобы была луна. Женщина из верхней деревни мне говорила: «У меня сын родился в безлунную ночь. Луна вышла через два дня. Ребенок умер, когда ему было всего восемь лет». А что сказать про эту штуку с луной: пусть, говорю, войдет Василка. Василка знает про луну. И она, улыбаясь, входит в комнату с шерстяным платком на лице... Вот так было, — говорит поп Шако. Вздрагивает и как фурия выбегает из дома. Он забыл о похоронах в соседнем селе.

— И зяблик улетает вместе с ним, — говорю я себе.

— Как фасоль? — спрашивает Миле Пейкуре.

— Фасоль как фасоль, — отвечаю я и выскребая ее, чтобы помыть кастрюлю. На тот же очаг я ставлю чечевицу для моих. — Когда они вернутся из города, им будет что поесть, — думаю я.

(перерыв на кофе)

— Что касается чечевицы, то здесь особо нечего сказать, кроме того, что она занимает третье место по содержанию белка из всех злаков, орехов и бобовых, сразу после сои и конопли, — заявил чуть позже Миле Пейкуре. — Что же касается Шако, попа с пухлым лицом и ногами, как прутья, о нем можно много чего сказать, — продолжил он, повернувшись в сторону каменоломни, где его отец Симон добывал камень для обработки. — Ты заметил, что у него лицо больше головы, — говорит он.

— И он снова прав. У него три подбородка свешиваются ниже бороды, — думаю я.

— Знаешь, какую историю рассказал раз Шако? Вот послушай:

— Помню, зашел я однажды в таверну Йовковых, а там — Джуро Ваткин кричит, как угод, — говорит моему отцу, а тот вырезает крест для Василки Гюлутковой. — Смотрит Джуро на меня и указывает на сойку. Он эту сойку носит привязанной к шлевке на штанах. Когда он идет по деревне, сойка скачет, прошу прощения, у него с яйца на яйцо... Так вот, Джуро мне и говорит:

— Садись, поп, я тебя угощу, у меня племянник родился!

— Какой еще племянник, — говорю я, — что ты болтаешь! Племянник, от кого племянник? У тебя во дворе жука нет, а не то что племянника... Ладно, я сяду.

— Ты знаешь, Шако, у меня сова живет на крыше. А сова — это самый страшный зверь, мать ее!

— Это точно, — говорю я и крещусь.

— Кычет — уууут, уууут, только когда какой-нибудь человек скоро умрет! Пять-шесть душ умерли только на нашем конце деревни, мать ее!

— Это точно, — соглашаюсь я.

— После этого какое-то время больше не ухала! До вчерашнего дня. Как ты думаешь, кто отойдет, чтобы ее не разочаровать? Подумай, не торопись! И выпей еще одну, за племянника! — говорит Джуро.

И я пью за племянника.

— Знаешь ли ты, что, если вырвать зуб, и если будет больно, то умрет кто-то в доме. А если ничего не почувствуешь, умрет дальний родственник! Понимаешь, дальний родственник умрет. А ведь есть разные люди и разные смерти, мать их! Буквально. Тетка моя, когда умирала, то попросила открыть дверь. Открыли дверь, она простилась с солнцем и умерла! Когда умирал мой дед, он попросил, чтобы к нему, в его комнату, привели собаку. Впустили пса, он на него посмотрел, рот открыл и умер! Ты наверняка знаешь, что нельзя оплакивать покойника, пока не запоют

петухи! И лампу нельзя гасить шесть недель после того, как кто-то помер. Ты хоть и неопытный священник, но все равно обязан знать — гроб с покойником не должен касаться порога дома, а ты заставляешь людей ставить его на порог, чтобы мертвец простился с домом! Когда ты умрешь, если ты умрешь, куда пойдешь твоя душа, поп! Куда, Шако, а? У тебя на шапке изнутри все еще пятиконечная звезда. И ты закончишь, как Василка Гюлуткова! Она строила из себя знахарку, могла луну с неба достать, а когда помирала, редела, как корова. Вот так-то! Не злись! Ну, а если злишься, пускай! Так вот, про сову. Да, кстати, давай еще по одной за племянника!

— Какой еще, — говорю, — племянник, у тебя даже курицы нет!

— Именно поэтому. За него, за племянника, которого у меня нет, — говорит Джуро. — Можно выпить за то, что есть, но можно выпить и за то, чего у тебя нет! Я больше скажу: В том, что у тебя есть, есть и то, чего у тебя нет, — продолжает он. — Когда я был мальчиком, я носил виноград в корзинах, высыпал его в чан, а женщины давили его ногами. Проваливались до пупка. Бедра у них пылали от желания. Сусло текло часами... Вино, которое ты пьешь, — это то, о чем я мечтал всю жизнь, — сказал он и выпорхнул через оконце, которое подвинулось специально для него.

— Джуро умер восемь лет назад, — сказал отец, не поднимая головы.

— Да знаю я, — сказал поп Шако, — потому-то я и затрясся весь от волнения, когда снял камилавку и увидел, что конь привел меня к могиле Джуро Ваткина.

— Но сначала ты говорил, что ехал на муле, — возразил отец, дуя на камень.

— Я этому мулу доверял, как будто он был конем, — сказал священник Шако и продолжил. — Как бы то ни было, как я уже сказал, сова сидит на кресте, таком же, как этот, подпрыгивает и смотрит на меня с удивлением, как будто не верит, что это я, миропомазанник, собственной персоной. Из-под копыт коня, отписанного церкви по духовному завещанию и принимаемого за мула, бьют винные источники. Конь фыркает, топчется в луже, месит грязь, будто глину для саманных кирпичей. И тогда, в этот момент, я понял, что Джуро дал мне откровение; исполать тебе, Джуро, — говорю я, пусть будет так. Так и стало. Виноград в изобилии, вина сколько хочешь; крестьяне уже не знали, что с ним делать. Тогда я вспомнил про откровение и с Божьей помощью убедил их опустошить бочки, мехи и кадушки и замесить на вине саман, а не выливать его на могилы. Я так велел им сделать и перекрестился, чтобы подкрепить то, что говорю. Клянусь своим конем, — добавил он.

— Ты имеешь в виду мула, — говорит отец, вырезая крест для Василки.

— Для меня все, что не осел, — это лошадь, — говорит поп Шако, указывая пастырским посохом

на дом, которым он все время хвастается. — Кирпичи красные, — говорит он. — Кто выстроил дом, кто сеновал, кто сарай, ты знаешь и видишь, что вышло! Эти стены из винных кирпичей, уж точно, самые прочные во всей деревне, — добавляет он.

В определенном смысле и сейчас, и тогда Миле Пейкуре говорит о том, что было и есть, и чего не было и нет, и от своего имени, и от имени попа Шако. Колеса скрипят по камешкам на пути к каменоломне. Коляска при этом покачивается, Миле кивает головой в такт. Я толкаю коляску перед собой, а сам व्यюсь за ее спинкой, как флаг. Тяжелый ореховый стул взят из Дома, из главной канцелярии; он весь резной, с виноградными гроздьями и листьями, с различными фигурами, шедевр резчиков по дереву прошлого века; на нем восседал Лефтер, деревенский староста, а потом, по очереди, управитель Дома, директор кооператива и поп Шако, когда готовился стать епископом и тренировался сидеть на престоле. Миле Пейкуре укоротил стулу ножки, приделал колеса и два круглых зеркала на подлокотники, чтобы наблюдать за мной, когда я качу кресло, а потом добавил цепь, передаточную шестеренку, ручку для поворотов и какую-то хреновину для торможения. С художественной точки зрения это кресло было намного красивее и выглядело дороже, чем епископское кресло в церкви. Когда он сидел в нем и ездил по деревне, казалось, что едет сам епископ Анания, а не Миле Пейкуре, единственный сын Симона-камнереза.

Глядя в правое зеркальце, он спрашивает, помню ли я, что мы должны проверить, где в деревне, в квартале Шуман, есть дома, выстроенные из кирпича, замешанного на красном вине.

И пыль по дороге была красной. По переулку промчался ветерок. Мы остановились и пропустили его, чтобы он летел дальше к садам. Похоже, он хотел что-то рассказать о кладке на вине, но ошибся направлением и пролетел мимо того, что хотел нам показать.

— Ты видишь стену из этих кирпичей, которая сохранилась в нас? — спросил меня Миле Пейкуре.

— Видит, — сказала бабочка, порхающая среди кустов.

— Она в тебе, даже если ты ее не видишь, — говорит он, и его лицо подрагивает в зеркале, пока коляска с трудом продвигается по щебню в сторону каменоломни. Мы говорим о домах, пока спускаемся в карьер, о бочках, которые когда-то были полны вина, так что крестьяне замешивали глину для самана на вине, а не на речной воде.

*(запрещается подчеркивать химическим
карандашом)*

— В урожайные годы, когда люди не знали, куда девать вино, они замешивали на нем кирпичи, думая, что так стены будут прочнее. Здесь, как тебе,

наверное, известно, раньше было сто двадцать пять домов; сегодня нет и восьмидесяти, в основном они стоят пустые и разваливаются сами по себе. И наши рухнут, когда мы уедем. А когда-нибудь мы обязательно уедем, — говорит Миле Пейкуре. — Мы все уедем, хотя город находится всего в шести километрах отсюда; можно было бы жить хорошо и здесь; можно было бы, если бы у нас были мозги. И дорога нормальная. Как видишь, к нам уже и аисты больше не прилетают. Ветер разносит прутья, из которых сплетены их гнезда. Школа есть, но хоть и есть, не сегодня — завтра ее не будет, закроют. Кому захочется учиться, если придется пешком ходить в другую школу. Я не пойду, не могу. Я хочу парить в воздухе, летать свободно, но в школе не учат этому, нет такой школы. Птицы же — эгоисты, ничего не рассказывают, — говорит он с улыбкой, обрамленной в правое зеркало, потому что в левом где-то за Вишешницей гаснет день. — Ваш дом у солнца за спиной, — продолжает Миле, освещенный зеркалом, — а наш напротив вашего, в квартале Биково. Нет дома без ворот и калитки. Ворота — чтобы войти, калитка — чтобы убежать. Только здесь имеются постройки из винного кирпича, больше нигде. В тетрадке попа Шако написано, что в деревне делали вино, которое можно было носить в скатерти. Завернешь его, возьмешься за концы, перекинешь узел через плечо и несешь домой, на стол. Или на рынок, все равно. И продаешь его черпаками. Можешь представить себе вино в скатерти? Густое вино,

прекрасное вино, — говорит он из рамки зеркала. — А ты знаешь, что здесь всех, кто не пил вина, считали варварами, — сказал он. — И запомни, ты моложе, у тебя есть фора — кто его не пробовал, не знает, что такое наслаждение, — заметил Миле, когда мы проезжали под лозой, оплетшей явор возле колодца.

Дерево засохло много лет назад, но каждую весну оно как будто оживает; лоза становится его кроной, и с каждой веточки поет по соловушке. Потом побеги покрывают явор листьями, так что он становится похож на пенёк с маленькими хрустальными гроздьями. Перед закатом грозди похожи на сорок, прыгающих по веткам и роняющих с неба ослепительно сверкающие искры. Дети забирались наверх и спорили, кто сорвет гроздь небесной лозы с самой высокой ветви. Гроздья были маленькие, как нитки ягод смородины, виноградины крошечные, но красные, как кровь. Василка Гюлуткова делала из этого винограда сусло для того, чтобы вставало, для наслаждения любовью. Также она давала его как лекарство, чтобы те, кто обжигались на закате, не ослепли от красоты. И теперь со всех сторон как искры сверкали маленькие, мелкие гроздья. В конце лета, когда лоза засыхает и желтеет, гроздья превращаются в соловьев, скачущих по веткам, вырисовывая, сами не ведая того, какие-то скрещенные эллипсы на краю листа. Женолюбы и бабники тогда тайком рвали ягоды с небесной лозы. До Преображения никто виноград не ел. И деревня в то время придерживалась того, о чем говорил поп Шако.

Раньше покровителем села считался Святой Архангел Михаил, но крестьяне сменили его на Святого Димитрия. В Михайлов день на праздник приезжали турки и сидели в деревне по три дня, притесняя селян, поэтому, договорившись с беєм из города, селяне перенесли приходской праздник на первую пятницу после Пасхи. Бей сказал им, что в эти дни турки сидят по домам, так что жители могли мирно отмечать праздник. Около двухсот лет назад была построена новая церковь Святого Архангела Михаила, та, что рядом с кладбищем. И сама церковь красивая, но кресты на могилах — самые красивые в мире.

— На каждом кресте есть след рук Симона, — утверждает Миле Пейкуре. — И все камни с одной каменоломни, — добавляет он. — Неподалеку есть следы средневекового города и остатки построек времен античности, но есть и кое-что гораздо более важное, чего не знает никто; знаю только я. И еще мой отец Симон, может быть, не уверен... Увидишь сам, когда мы доберемся до места, — говорит он и замолкает. а мы тем временем переезжаем через вершину холма, чтобы затем спуститься к карьере.

(два перекрещенных эллипса)

Через некоторое время мы уже были в штольне, пробитой в известняке.

В проходе с обеих сторон виднелись углубления, из которых были извлечены куски камня. Большинство походили на выдолбленные кресты, но некоторые имели форму круга. Скалы спускались до террасы, нависшей над ущельем. Справа от нее по краю проходила канатная дорога, по которой вывозили бревна.

— Пошли, — сказал Миле Пейкуре и стал спускаться к равнине, с которой был виден зубчатый гребень холма с другой стороны. Путь, ведущий к нему, был пробит сквозь скалы. — Раньше дети в деревне носили на себе кусочки известняка как символ чистого сердца, — сказал он, притормаживая. — В прошлом крестьяне не любили кресты, а мой отец, Симон, теперь зарабатывает себе на жизнь крестами. Он делает их из известняка, из этого известняка. Он говорит, что известняк — это камень с душой. Не знаю, заметил ли ты, что на каждом кресте внизу, в том месте, где его врывают в землю, вырезают два скрещенных эллипса, символ богомилов. Вертикальный эллипс — сила созидания; горизонтальный — разрушения. Знал бы это поп Шако, он бы их разбил Симону о голову. А ты знаешь, кто такие богомилы? Богомилы — создатели богомильства, а богомильство — это идея гуманизма и культурного возрождения, народное движение за религиозное и политическое освобождение, — сказал Миле, как будто читая книгу. — Главным у богомилов был один священник из этих краев, — закончил он и вытащил

из чехла под сиденьем складную лопату. — Я не могу, но ты можешь, — сказал он. — И не думай, что я тебе приказываю, нужно совсем немного потрудиться, это несложно. Если хочешь стать свидетелем того, что увидишь только ты в моем присутствии, копай под этим крестом, высеченным в скале, копай в траве с двумя эллиптическими лучами над ней, — уверенным голосом сказал Миле Пейкуре, повернул коляску и остановился на краю ущелья. В первый момент я подумал, что он может поскользнуться и свалиться в пропасть, но увидел, что он предусмотрительно нажал на педаль, тормозящую коляску. Потом мы немного помолчали, разглядывая выемки, показывавшие, где брали камень для крестов.

Пространство представляло собой небольшой известняковый выступ в углу утеса с поросшим травой бугорком. На первый взгляд холмик был похож на забытую всеми могилку. В тот момент, когда я начал копать, Миле Пейкуре снова стал говорить о тех, кто считает любовь вершиной жизни.

— Они не видят в теле ничего греховного и, следовательно, не приписывают ему ничего постыдного. Нет греха в природном, в том, что записано в плане. Жизнь — это Божий дар, им нужно пользоваться, — говорил он, а тем временем постепенно в земле начало открываться полое пространство. Миле добавил, что рождение и смерть являются началом и концом каждой человеческой жизни. В этот момент у меня задрожала рука с лопатой.

По звукам, которые я издавал, копая, Пейкуре мог догадаться, что у меня сердце в пятки ушло, но он сделал вид, что ничего не заметил.

— Во всяком случае, мир был создан двумя богами, — продолжил он. — Богом света и богом тьмы; богом добра и богом зла; богом созидания и богом разрушения, — вещал он, протягивая мне метлу, которую вытащил из сумки. — Сказать, что нет святой истины, а есть только вечная борьба — это великое дело. Богомилство — самое прекрасное в нашей истории. Жаль, что оно не победило. За шесть веков до Лютера они хотели, чтобы каждый мог думать своей головой, чтобы у всех был высокий и совершенный идеал, чтобы вера была скромной, чтобы было меньше религиозных праздников, чтобы священники пеклись о народе, а не о деньгах... За девять веков до Великой французской революции богомилы проповедовали братство, равенство и свободу. Какой еще Лютер, какой еще Робеспьер! Именно отсюда началась Реформация, — закончил он, глядя на закат, гаснущий в ущелье за рекой. — Может быть, когда-нибудь люди признают, что здесь зажегся факел, озаривший новый путь человечества, — добавил он. — Но мы пришли сюда не для этого, — продолжил он. — Мы пришли совсем за другим, — решительно сказал Миле Пейкуре и приблизился к месту, которое я уже расчистил метлой. На плите отпечатался след человеческой ступни, но ни у одного живого человека в мире такой ступни нет и не может быть, —

подумал я, костенея от страха. Она была такой же длины, как лопата, и немного шире метлы, которой я ее чистил, и теперь были видны даже отпечатки рисунка кожи. Если бы я измерил ее пядями, то определенно их было бы больше семи, — сказал я себе, и в этот момент солнце ушло за гребень, но был еще день, было видно каждую жилку на этой ступне.

— Как видишь, это человеческая нога; стопа нашего величайшего героя. Когда он однажды отказался от нас, не знаю почему, он убежал из села, добрался до явора, ткнул пальцем в землю, и оттуда хлынула вода, он промыл глаза и отправился сюда. В то время прохода через горы еще не было, поэтому он запрыгнул на эту скалу, одной ногой оперся на ее вершину, а другой ногой встал на гору напротив. И потом он так и не вернулся в деревню; отпечатки его ног остались, чтобы мы знали, что он, такой вот герой, у нас был, что он существовал. Отпечаток левой здесь, а правой там, на другом берегу. Явор засох, но колодец остался. Молодежь там ищет Бога и дьявола. Без сомнения, ничто не утрачивается навсегда. И когда мы уйдем, ничего не изменится, все будет так же, как сейчас. Ветер занесет наши следы пылью, но на их месте появятся другие, — сказал он и запел: *Подуй, подуй, белый ветер, чтобы закачался зеленый лес, чтобы растаяли белые снега, открылась дорога к Дrame, там мой милый лежит больной, я отвезу ему гостинец, желтую айву с листьями, белые гроздья с лозами и рубиновое*

вино старое... Миле хлопнул в ладоши, и тут же подул известковый ветер — сполз по склону и опустился к нам.

— Тебя предадут, не успеешь и глазом моргнуть, — донесся до меня шепот откуда-то снизу, исходящий будто от стопы. — Если начнешь проигрывать, они убегут; если победишь, они придут, незванные. И измыслят то, чего не было, как будто оно было, переиначат все, чтобы прикрыться теми, кого сами убивали, потому что для них главное — заполучить славу. Если их не было на самом деле, они придумают, что они были. Я защищал, но больше не смогу никому помочь. Нет от самого себя спасения, о, вихрь мой! Я покори́л море, но его потеряли; я покори́л горы, но их отдали; я покори́л деревни, но их покинули; я покори́л реки, но их иссушили; я покори́л леса, но их сожгли; я покори́л озера, но их разделили; я покори́л медведей, но их истребили; я покори́л города, но их осквернили; я покори́л холмы, но их сдвинули; я покори́л друзей, но их возненавидели; я покори́л врагов, но их полюбили; я покори́л книги, но их порвали; я покори́л поля, но их запустили; я покори́л башни, но их разрушили; я покори́л замки, но их снесли; я покори́л сады, но их вырубili; я покори́л воздух, но он им опротивел; я покори́л ветер, но он им опостылел, и я не в состоянии больше их спасать! Лиходеи, а не люди, вихрь мой! На худое они горазды, а на доброе несговорчивы, не могут друг с другом столковаться. Бурьян, который они выпалывают

на пустоши, сваливают в сады; мух, которых они бьют на чердаке, бросают в комнаты; воду, текущую к забору, направляют во дворы; снег сваливают к воротам соседей напротив, а улицы чистят, чтобы только можно было пройти. Я долго боролся. Несмотря ни на что, я хотел быть героем, и был им, но больше не могу; хватит! — сказал я себе, но тут появились разбойники-мордовороты, и я снова вскочил на ноги, снова взял желтую булаву, острую саблю дамасской стали и алое знамя: ***Радуйся, милый дом, и будь честным, каким ты был всегда!*** Когда я снял с них маски, то увидел, что это наши, только переодетые! С тех пор я не могу глаза закрыть; машу руками, сражаюсь с привидениями, боюсь теней, боюсь ветра, боюсь росы, тех, с кем я пью и сплю, и при этом молюсь, чтобы никто не узнал, что я боюсь; кто знает, что они сделают, если узнают, что я болен страхом, а ведь я герой, обо мне песни поют. И я знаю, что того, что было, как будто не было, память — это пустое пространство, тоска по времени, которого нет, — закончил голос, и внезапно ветер превратился в вихрь, который кружил у скал, создавая музыку из немыслимых звуков, некую симфонию, терявшуюся в серости над нами. Может, так оно и было в действительности. Ведь, по сути, все, что мы слышим и воспринимаем нашим умом, звучит одинаково: и то, что есть, и то, чего нет, хотим мы этого или не хотим.

В какой-то момент, желая опорожнить мочевой пузырь, я говорю себе: Рано или поздно все

становится тем, что можно услышать, потрогать или понюхать.

Миле Пейкуре пребывал словно в трансе. Наконец, он попросил меня вернуть землю на место, засыпать отпечаток стопы, все заровнять и никому не рассказывать о случившемся.

— Ты знаешь или, по крайней мере, должен знать, что народ — это мистическое сообщество умерших, живых и нерожденных, — выдохнул он, как будто целясь в утоптанное место.

С трудом миновав узкий коридор между скалами, мы вышли на дорогу, а там было по-прежнему солнечно и тихо, как будто мы очутились в другой стране. Когда мы добрались до явора, Миле Пейкуре попросил меня оторвать ветку с лозы, чтобы определить по ней, какой будет осень. В колодце плавали опавшие листья; веткой мы очистили его от мусора и пошли по дороге через виноградники. По ней уже ехали грузовики, которые везли ранние сорта винограда на винзавод в город. Рыхлая земля была теплой и мягкой. Пыль протекала между пальцами ног. Можно было пересчитать все следы.

— Помнишь вот это, — спросил Миле, — из хрестоматии: *следы, что оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки.*

Мои следы оставались на дороге, как письма.

— Богомилы писали ногами, — вспомнил я, что говорил Миле Пейкуре в каменоломне. — Левый — на кириллице, правой — на глаголице. Отсюда

в вечность, как сказал он. Неужели и вправду этот мир — всего лишь временный отпечаток в пыли, — думал я, толкая коляску перед собой. Следы моих ног ограничивались двумя глубокими линиями с двух сторон. Я смотрел на рисунок шин. Миле Пейкуре улыбался в одном из зеркал, бормоча, что солнце светит с трех сторон, а луна — с четвертой, хотя перед нами было только кладбище.

Муравей тащил зерно, пытаясь выбраться из ловушки.

— В деревню скоро прибудет новая учительница, — сказал он, не выпуская зерна, а Миле Пейкуре добавил, что не только она, но и вода, так что скоро поле, и старый город, и огороды с огурцами, и мельницы, и тропинки, ведущие в квартал Шуман, все превратится в озеро. А когда у тебя есть озеро, то это все равно, как будто у тебя есть сразу два неба, — закончил он, глядя на колокольню.

(то, что есть, то, чего нет)

Когда мы увидели учительницу на школьном дворе, то возле акации как будто засверкало что-то инопланетное, что-то с розовым ореолом сверху. И Миле Пейкуре признал, что она красивее Ангелины Поповой, которая, как говорят, была похожа на русалку и была красивее всего, что он мог вообразить себе как певец.

— Для тебя это ложь, для меня правда, — сказал он.

— И так оно и было, — говорю я себе, возвращаясь к тому, чего, как я думал, не бывает, не существует. — Мирну было видно и тогда, когда ее не было видно, — говорю я себе.

Она была тонкой, с вьющимися черными волосами, белым лицом, и на ее щеках, когда она улыбалась, появлялись ямочки. Из дворов с развешанным для просушки бельем слетались птицы, чтобы посмотреть, как она здоровается с матерями учеников, доставшихся ей от предыдущей учительницы. Она приехала из города, а та уехала из деревни. Сравнивая ее с Ангелиной Поповой, какой я ее себе представлял по описанию, я осознал, что у Ангелины я знал только волосы и лицо, а у новой учительницы я видел плечи, округлые, как куски мыла; груди, колышущиеся под рубашкой; ноги, блестящие, гладкие и белые, как печенье, которое бабушка Энка делала, чтобы угощать детей, то, что рассыпалось, стоило только лизнуть сахарную пудру, которой его припорошили. Сахарная пудра растворялась во рту, а мы читали нараспев: ***Осень, виноград созрел, песенку сверчок запел: Цвири-цвири, как я рад, собираем виноград!***

За те несколько месяцев осени и потом, перед событием, которое я стараюсь обнаружить в своей памяти, Мирна приезжала к нам каждый понедельник и уезжала из деревни в пятницу после уроков. На площадке под акацией останавливался «фиат» ее

мужа, она ставила одну ногу внутрь, садилась на сиденье рядом с ним, потом ставила внутрь другую ногу и закрывала дверь. Воздух, оставшийся во дворе, пах тайной до тех пор, пока его не вытесняли выхлопы машин с виноградом, из которых в дорожную пыль капал забродивший сок. На главной улице деревни пахло так, как будто прошел винный дождь; иногда кто-нибудь из нас бежал за грузовиком, натужно гудевшим на подъеме, цеплялся за кузов сзади и выхватывал пару гроздей из кучи, наваленной на брезент. Гроздья прилипали к рукам, как смола. Через несколько дней винзавод открыл посреди деревни заготовительный пункт, виноградари привозили туда виноград, взвешивали его на весах и пересыпали в прицепы, стоящие у шлагбаума. Платформа вскоре становилась влажной от сусла; опинки¹ тех, кто работал наверху, лопались, липли к доскам. В это время в деревне собиралось много людей; одни приходили с полными, другие возвращались с пустыми корзинами; под копытами скота клубилась пыль, поднимаясь по межам как дым. И в школе пахло пылью и виноградным суслом. В соседнем классе кто-то читал вслух: «Анна месит тесто. Анна месит сама. С Анной Эмма. И Эмма месит сама. И Эмма месит тесто». После школы большинство из нас сидели под акацией, наблюдая, как искрит лопающийся виноград

¹ кожаная обувь, распространенная у южных славян и считающаяся их национальной обувью.

в прицепе. Ладно, я-то знаю, что мозг создает мир, основываясь на том, что впитывает из среды, которая его окружает, поэтому вот Антон Печатник, муж Мирны, в один прыжок, как олень, забирается на сцену, чтобы помочь загрузить виноград в грузовик. Хватает корзину, поднимает ее настолько, насколько нужно, будто это не стоит ему никаких усилий, и вываливает содержимое в кузов. Мышцы ходят у него под рубашкой, перекатываются с шеи на плечи и обратно. Сияние винограда освещает его лицо, и в этом круговороте времени как будто исчезают все ненужные детали, и внезапно на помосте остается только он, муж Мирны.

— Он работает в городе в типографии, — говорит Миле Пейкуре. — Там печатают этикетки, приглашения, некрологи; больше всего некрологи; клиенты заказывают, не скупятся, всяких размеров, с декоративными венками по краю; клеят их повсюду, чтобы смерть знала, что о ней помнят, — говорит он. — Городские фонарные столбы облеплены печальными известиями и напоминаниями о памятных датах, — сказал он и отодвинулся в тень акации. — Все в знаках печали. Никто не приклеивает новости о рождении; только о смерти, — добавил он. Молча, как замороженные, мы смотрели на пузыри, дрожащие над людьми, как пузыри из комиксов.

В те дни, когда он приезжал за женой пораньше и уроки еще не закончились, Антон Печатник становился частью деревни. Его звали на обед,

на праздник, на крещение, и он с радостью заходил в каждый дом, принося подарок как сосед, как член семьи. Мирна шутила, что оставит его в деревне как залог того, что она вернется, или что порекомендует священнику Шако взять его в причетники, чтобы тот носил за ним кадило и даже иногда кадил, если разрешат. Обнимая ее прямо перед нами, как в кино, поднимая и кружа, он соглашался со всем, что она скажет, и даже сам что-нибудь добавлял на свой счет, а потом открывал дверь «фиата», Мирна влезала внутрь точно так же, как всегда, он закрывал дверь, и они уезжали, маша на прощание руками, как будто собирались в медовый месяц, хотя были женаты уже три года, и у них было двое сыновей; один только начал ходить, а другой все еще ползал. Мы провожали их взглядами до горного хребта над деревней, а потом мой приятель, как будто сам себе, говорил, что нет никакого другого способа любить, чем любить храбро и не бояться этого чувства.

— А здесь люди боятся всего, даже любви, — добавлял он.

(размышляя о жизни)

— Один писатель-путешественник, — продолжил Миле Пейкуре через некоторое время, — сказал по какому-то поводу триста с чем-то лет назад, что ему жаль жителей этих краев: Они постоянно

боятся, они умирают от страха; они убегают, как только видят, что кто-то приближается. Однажды писатель побежал за ними, чтобы спасти их от самих себя. Он считал, что они боятся остаться без страха... Люди бежали, не оглядываясь, к Шуману, — сказал Миле. — Он не сумел их догнать. Многие там до сих пор больны от страха. Я узнаю их по глазам. В их глазах нет глубины. И имей в виду, жизнь в страхе — это не жизнь. Не бойся, — добавил он, — то, что должно прийти, придет; что должно уйти, уйдет. Бывает время встречать и бывает время расставаться. Смело и достойно. Вот, где бы то ни было, сегодня-завтра мы расстанемся с холмами и горами, вместо них будут омуты; озеро начнет подниматься, наполняя на холм, по реке, по нашему ручью. Большая река будет наполнять его медленно, как колодец, и наполнит до высоты плотины. И ничего не будет так, как раньше. Вершина горы станет островом; сады окажутся на дне, огурцов не будет, но будет рыба, — сказал Миле Пейкуре, глядя на воздух, который вдруг превратился в воду, текущую к деревне. — В таких условиях глаза становятся глубокими, — добавил он. — Им есть на что посмотреть. Когда озеро достигнет квартала Шуман, наша речка будет впадать в залив и потечет между домами. Шум ее волн будет слышен аж в церкви. Вода будет журчать на стерне и бежать по бороздам, — сказал он, и мы собрались возвращаться, не дожидаясь начала предсказанного метеорологами метеоритного дождя.

Вообще-то, в то время в моей голове частенько проносились обрывки сновидений; сидя под виноградной лозой во дворе, я пил чай из листьев айвы, хотя передо мной никакого чая не стояло, или ел черешню с дерева, которого давно не существовало. Я ощущал сок в горле и косточку, которую крутил на языке, прежде чем выплюнуть. Я даже слышал звук упавшего старого таза, из которого когда-то кормили кур. И не удивлялся, потому что то, что может быть, — есть, а чего не может быть, — будет, как сказал священник Шако, упомянув при этом архиерея, чтобы похвастаться знакомством, хотя архиерей даже не знал, что есть такой священник, со звездой, зашитой в камилавку. В особых случаях, скажем, если на один и тот же день выпадали государственный и религиозный праздники, Миле Пейкуре просил Шако показать звезду, а поп, маша кадиллом, приподнимал рясу и убегал в церковь. — Страшно ему стало! — говорил Миле Пейкуре, хлопая в ладоши. — Убежал, как черт от ладана, — добавлял он.

Если говорить о том, что существует невидимо, то в моей памяти существуют эти двое, Пейкуре и Шако, потому что именно их я встретил первыми, когда мы переселились из города в деревню.

Моему отцу, хотя в первый раз его оправдали, потом, после повторного рассмотрения дела подкупленными судьями, пришлось отправиться в тюрьму из-за старика, который на велосипеде прицепился палкой за кузов и попал под задние колеса грузови-

ка. Насколько я мог понять из того, о чем шептались дома, трагедия произошла, когда отец работал на расчистке завалов после землетрясения в столице, и он даже не увидел человека, который попал под прицеп. Когда он оказался в тюрьме, а в семье работал только он, нам пришлось покинуть город и переселиться в деревню. Поскольку ехать нам было не на чем, а автомобильная дорога по горам была втрое длиннее, мы отправились пешком через свалку в Мельци. Тропинка шла по холмам, кружила по долинам, а потом спускалась к свалке, горячей и вонючей. По кучам мусора бродили, хрюкая и роясь в пищевых отходах, длиннорылые свиньи; они внимательно разглядывали всех, кто шел по свалке. Почти бегом мы добрались до перевала, откуда был виден город. Слава богу, сказал я себе, что мы живы. И мы, и свиньи. Как бы в такой ситуации себя чувствовал Миле Пейкуре, — думал я, постепенно успокаиваясь, хотя перед моим внутренним взором все еще хрюкала свинья, такая же, как та, которая отгрызла ему ногу.

Когда я впервые встретил его у церкви, я подумал, что он жулик или карманник. Увидев его, опирающегося на костыль, с овчиной под мышкой, без обуви, в вязаных носках на ногах и таких же перчатках, я решил, что это местный чудака, тип с особым характером, ненормальный, но быстро понял, что он человек умный, певец и мечтатель вроде меня, человек, стремящийся создать что-то невозможное. Может быть, поэтому я очень быстро с ним подружился,

и у него не было секрета, которым он не поделился со мной. По крайней мере, я так думаю. Сначала Миле рассказал мне, как случилось, что он потерял ногу, а затем рассказал о священнике Шако, о камиллавке и о могиле, которую тот вырыл для себя.

— Южную стенку он выложил из речных камней; раз в год он накрывает могилу рубероидом, чтобы не заливало ливнями, — сказал он. — А знаешь, зачем он устроил каменную стенку? Чтобы черви, покончив с ним, не могли уползти на юг. Он знает, что они всегда уползают на юг, никогда не ошибаются, а он даже после смерти не хочет попасть туда, где остались жить его брат и две сестры, которые с ним не общаются... Станный тип этот поп Шако, сам увидишь, — сказал он, попытавшись одновременно прыгнуть с костылем в длину, как это делали другие, особенно Драган Галун, но костыль при толчке надломился, и Миле грохнулся, как подкошенный, как будто свалился с неба. Когда я поднимал его, и делал это с трудом, никто не подошел, чтобы помочь; Драган Галун скалил зубы издали, но и остальные хихикали, только тише. После того как я его поднял, Миле Пейкуре сказал, что больше никто не увидит его на костылях, в таком виде он не появится. И действительно — несколько дней он не выходил из дома; а через некоторое время появился в резном кресле с колесами, похожем на трон. — Лучше пусть завидуют, чем жалеют, — сказал он, натягивая на ноги носки из разноцветной шерсти; он носил их на обеих

ногах, а на той, на которой нет ступни, привязав носок веревочкой ниже колена. Насколько я помню, носки у него были с народной вышивкой: летом хлопковые, а зимой из овечьей или козьей шерсти. Он сказал, что у него полный сундук носков. У них в семье всегда вязали, чтобы прокормиться в тяжелые времена. Вот таким был Миле Пейкуре. Попробуйте представить себе его таким.

(продолжение)

Тем временем свиньи ушли вниз, в долину, а мы сидели наверху, на перевале, глядя на поле перед собой.

Страх ушел, но сердце все еще сильно билось и стучало, будто у меня под рубашкой спрятался сверчок. Ладно, в следующий раз буду смелее, — пообещал я сверчку, а он пролез между пуговицами и поглядел на меня с недоверием, шевеля усиками-антеннами.

Когда мы отдохнули и собрались с силами, то отряхнули одежду и потихоньку спустились с горы. И потом, всякий раз, когда мы, покинув деревню, возвращались назад, все происходило таким же образом. Пройдя через свалку, мы устраивались на отдых подальше от нее, чтобы потом, отдышавшись, продолжить путь домой. При этом первое, что мы могли услышать там, наверху, на перевале, были голоса и рев ослов у кладбища. А первое, что можно

было унюхать, это запах пекарни, хотя в это время дня хлеб в деревне пекли редко. В сущности, запах горячего деревенского хлеба был внутри меня, я носил его как цепочку с жетоном на шее, точно такую, что носят солдаты, чтобы их могли опознать, когда убьют. Носил с первого дня после приезда в деревню. Когда мы проходили по переулку с деревянными окнами, у меня было такое ощущение, что кто-то смотрит на нас сквозь паутину. Пахло теплым хлебом и яичницей. Закат над крышами мигал, как лампа, которая скоро перегорит. Куда мы пришли? — спросил я себя, — и когда вернемся?

Через несколько дней я заметил, что у жителей деревни ладони потемнели, а кончики пальцев стали синими, почти черными. Я был сбит с толку, не знал, что случилось, думал, что это естественное явление, ну, вроде того, что происходит с листьями, и боялся, что если подует ветер, то у людей отвалятся ладони и все в деревне останутся без рук. Чтобы не подхватить заразу, я засовывал свои руки как можно глубже в карманы, брезгливо отворачивался, едва завидев, как я считал, больного, ни к кому не приближался. От страха я ходил по краю улицы, чтобы не наступить на чью-нибудь ладонь, которая могла отвалиться у сельчанина прямо по дороге домой. И так продолжалось несколько дней, пока бабушка Энка не подняла руки, чтобы повязать на голову платок; я тогда не успел не то что убежать, но даже и закричать. Она крепко ухватила меня правой рукой и подвела к окну.

— Я попросила соседа мне помочь — сбить орехи с того дерева, что позади дома, — сказала она. — В это время года некоторые падают уже без кожуры, но есть и такие, что с кожурой, их приходится чистить руками. А она дает цвет. Смотри, сейчас чистить будем, — проговорила бабушка, сядя рядом с корзиной.

Кожуру она бросала к печке, горка росла на глазах. Я видел, что руки у бабушки темнеют всё больше. Мне казалось, что что-то черное просачивается через ее кожу.

— Сразу не отмоешь, нужно время, — пояснила она, умело снимая кожуру.

Очищенные грецкие орехи Энка складывала на коврик у окна. В этот момент я понял, или это теперь мне кажется, что именно тогда я понял, что сельчане ничем не больны, что это у них от работы, а рукам приходится делать и такие вещи, которые, думаю, им и не нравятся. Руки должны и приласкать, и побить, и орехи полущить, то есть выполнить всё, что от них требуется. Во всяком случае, руки не листья, которые опадают, когда приходит осень, но мне до сих пор кажется, что, возможно, было бы лучше, если бы руки опадали, как листья, чтобы они помнили лишь то, что совершили за одно лето, именно столько. Такими руками невозможно было бы совершать преступления, какие совершались ими ранее. Новыми руками можно было бы делать добрые дела так, будто все начинается с нуля. Каждое новое прикосновение

было бы первым, — говорил я себе впоследствии, размышляя о жизни. — На руках отчетливо видны годы, первые морщинки и следы времени, — думал я, глядя на чистый лист с загнувшимся верхним углом.

(белизна как возбуждение)

Наш дом, или дом, в котором мы стали жить, находился на окраине села, рядом с церковью и кладбищем; в сущности, это был не настоящий дом, а две комнаты на двух уровнях, прилепленные друг к другу. Нижняя комната представляла собой заросший грязью хлев, а верхняя — часть дома побольше, оставшуюся над подвалом, объединявшим две комнаты. Кроме того, на высоте горницы, куда можно было подняться по лестнице из можжевельника и по балкону из нескольких досок, находился сарай с яслями и старой разломанной бочкой. Когда-то в бочке хранилось зерно, но теперь в ней была только тьма. Со двора было видно бо́льшую часть деревни напротив, вместе с Домом и церковью внизу, с трансформаторной подстанцией и продуктовым магазином наверху, и все дома — от реки до школы и от школы до озера, которое издалека, от садов, медленно надвигалось, приспосабливаясь к деревне, а деревня к нему.

Перед школой была небольшая лужайка, на которой оказывался каждый, кто хотел выйти на дорогу,

ведущую в город, или вернуться домой. Этой же дорогой пришла и зима, которую я никогда не забуду. Порывами, вихрем прокатились по деревне снежные бури, наметая сугробы в переулках и дворах. Сразу после этого белизна разлеглась на крышах вокруг нас. Теперь по кустам с опаской прыгали птицы, убежавшие от озера и еще не привыкшие жить рядом с людьми. Целых три дня снежинки цеплялись им за перья, и целых три дня птицы стряхивали их, размахивая крыльями, словно пытаясь взлететь. Родители пробивали в снегу дорогу, чтобы дети могли добраться до школы. Коляска Миле Пейкуре в таких условиях тоже не функционировала, но он быстро нашел выход: снял колеса и прибил снизу клёпки от старой бочки. Я увидел его со школьного двора; он отталкивался двумя палками, как будто ехал на лыжах. Я побежал, чтобы помочь ему. Драган Галун был в классе, он смотрел на меня в окно, махал руками и что-то кричал. Когда я поворачивал к акации, превратившейся в сугроб, я заметил, что рядом с ним у окна на мгновение остановилась Меглена. В деревне было всего три девушки ее возраста, но думаю, что она была бы первой, даже если бы их было триста. Когда я сегодня возвращаюсь к прошлому, к тому, чего уже нет, а вернее так считаем мы в нашем воображении, как сказал бы Миле Пейкуре, я сразу вижу небеса под ресницами, колени, шепчущие о неведомом, руки, летающие, как бабочки; когда она улыбалась, а она улыбалась всем лицом, воздух звенел, как вода, текущая из источника

во дворе у Кромовых. И ее пальцы улыбались, когда она оплетала веревкой бутылку на уроке домоводства, клеила в книжку картинки диких и домашних животных и катала у себя на коленях мои разноцветные стеклянные шарики. Когда я и Миле Пейкуре вошли в школу, Меглена была в коридоре; коляска на лыжах с трудом ехала по ковру, поэтому она помогла мне отвезти Миле в класс. Как только мы оказались в классе, Меглена взяла книги с той парты, за которой она сидела, и подошла ко мне, к моему столу. Сразу после этого вошла Мирна. И попробуйте утверждать, что это уже нереально, что не существует того, что невозможно забыть? Как отделить человека от того, что с ним было? И кто тогда мог предположить, что произойдет то, что случилось позже? Что откроются такая красота и такая душа!

А зима все никак не уступала; выпало столько же снега, сколько обычно выпадает за две зимы. И снег был не только обильным, но еще и плотным. Он был слежавшимся, затвердевшим от холода и отшлифованным ветром и сиял, как сахар.

Тогда, в то время, о котором я рассказываю и которое записано как на бумаге, так и в моей памяти, первым с косогора над кладбищем съехал, подложив под себя свою служебную сумку, почтальон Тасе, а потом начали скатываться и мы, используя то, что было под рукой. Я — на железном седле, оставленном какой-то отходящей армией; Миле Пейкуре на инвалидной коляске; Меглена на деревянном

выдолбленном корыте. А Драган Галун даже не стал пробовать съехать на санках — он сам смастерил себе из деревяшек лыжи и спустился на них с самого высокого холма над деревней. Правда, не вполне удачно. Это видел один удод, который следовал за ним вплоть до кладбища. Он летел прямо над Драганом, когда тот ударился об ограду. Через некоторое время он открыл глаза, встал, схватил лыжи и снова полез по склону вверх.

— Похоже, он хочет скатиться еще раз, — подумал я.

— Наверняка, — присовокупил удод — очевидец падения Драгана.

— Бедняжка, все, что бы он ни делал, это только для меня, — сказала Меглена. — И у него ничего не получается, — добавила она, как всегда, с улыбкой, снова не назвав его по имени. Она не считала, что он заслуживает того, чтобы зваться по имени.

— Белизна — это вызов; она возбуждает и провоцирует, — пояснил Миле Пейкуре. Возможно, поэтому в следующие несколько дней многие пришли с самодельными лыжами. Такие лыжи были метровой длины, их вырезали из древесины сосны или ели, кору с которой счищали молотком, чтобы деревянные лыжи были гладкими, а некоторые еще и смазывали их салом или воском.

Поп Шако на заднем дворе Дома, в одном из помещений без окон и дверей, однажды поймал двух странных парней. Когда он увидел, что они де-

лают — крестятся, зажигают свечи и держат их косо, чтобы воск капал на лыжи, он помянул и дьявола, и сатану, хотя знал, что они есть одно и то же — воплощение зла, существо, которое доводит людей до греха. После этого происшествия поп никому не позволял выносить свечи из церкви без благословения. Кроме того, он внимательно смотрел, кто, взяв свечу, зажег и поставил ее, как положено, живым — наверху, в противне с песком, а мертвым — внизу, в тазу с землей. Он и сам не знал, почему для одних — низ, а для других — верх. Но в любом случае и мертвых, и живых засыпало снегом.

(какими нас помнит жизнь)

Длившимися, казалось, бесконечно ночами, а у нас в долине смеркалось раньше, чем на горе, на ее склонах, бабушка Энка дремала, положив ноги на табуретку. Сейчас я вертел в руках тетрадку, которую мне дал Миле Пейкуре, сказав, что есть вещи, которые надо бы знать. На первый взгляд в ней ничего особенного не было, только имена — с крестиками и без крестиков. Как только я зачитывал одно из имен вслух, бабушка в полусне сучила ногами, приподнимала голову, поглядывала на дверь и снова засыпала. — Может, она думала, что кто-то умер, и ей надо идти на бдение, — говорил я себе. — Или, не дай Бог, воскрес из мертвых. Постепенно, слушая,

как потрескивают дрова в очаге, задремывал и я, сидя на стуле. Просыпался я в комнате наверху. Как я поднимался по лестнице, как входил в дверь и как ложился на кровать с ковром в изголовье, я не помнил.

Когда мы открывали дверь на улицу, толкая ею снег, наметенные снежные сугробы, выросшие на стрехе, падали перед крыльцом. Снег целыми днями сыпал со всех сторон; трудно было выйти со двора, а Мирна, так та просто не могла добраться до деревни. Птицы стряхивали снег с веток; ветер, не переставал, выл в проводах, а я часами листал тетрадь Миле Пейкуре и находил в списках жителей повешенного мужа Ангелины Поповой, потом троих ее детей с крестиками рядом с их именами. Мне слышался ее голос, взывающий ко мне со страниц тетрадки. Вскоре я заметил, что ее след пропадает, теряясь в пучине времени, и никто больше не упоминает о ней как о живой. В раздумьях я возвращался к словам Миле Пейкуре о том, что красота исчезает бесследно, как будто ее и не было, а бессмертие возможно, только пока мы живы.

— В сущности каждый из нас таков, каким его помнит жизнь. Я имею в виду жизнь, рассказанную изнутри, идущую из самой сердцевины бытия, из самой немоты существования, — говорил Миле.

Я оставлял тетрадку на стуле, выходил из комнаты и ловил зябликов с помощью таза: я подпирал его палкой, воткнутой в снег, а конец бечевки, привязанной к палке, протягивал в дом. В двери было

окошко, которое открывалось изнутри, так что я мог бездельничать, сидя на тюке хлопка, и при этом наблюдать за тазом.

Мимо, хлопая крыльями, пролетали птицы, но ни одна так и не села рядом с ловушкой.

Я привязывал нитку к ткацкому станку, стоявшему в углу комнаты, и смотрел на предметы, развешанные по стенам. В тусклом свете опутанной паутиной лампы, предметы становились округлыми, они будто теряли свои реальные очертания.

Я рассматривал кувшины, заткнутые кукурузными кочерыжками, две пустые кадушки, серп, воткнутый между кирпичами, бутылки, оплетенные прутьями, резной сундук с замком, висящие на стене весы и разрисованную цветами люльку. Когда я глядел на нее, мне казалось, что она качается, как будто к ней прикоснулась вневременная рука. Качается и тем самым желает сообщить мне: в этом доме родился твой отец, и тебе наверняка интересно, как в двух комнатах могла жить семья — восемь детей, да еще и бабушка Нуша. Твой дедушка Илья был у нее в прислужниках. Позже он женился на одной из двух девушек, которые приехали в деревню в поисках своей сестры Ольги. Говорят, что они закрывали лица чадрой, но это неправда, я знаю, что они носили одежду, какую было принято носить в то время. Хлопковую рубаху с шелковым шитьем, безрукавку, отделанную серебряным галуном, и суконную юбку с украшениями из фетра. На голове носили платки

с красной бахромой, падающей на глаза, мониста из старинных монет и украшения из бисера и металла. У них были передник из пестрой ткани, пояс и юбка. Говорят, что они не хотели разговаривать с деревенскими, но на самом деле они просто не совсем понимали то, что слышали.

— Люди здесь съедают гласные, глотают их, как зерна, целиком, ничего не выплевывая, — сказала люлька. — Ольгу они не нашли, зато познакомились с Нушей. Через некоторое время они узнали, что жив и их брат, что он бежал в какой-то город на востоке.

— Ты забыла имена, — сказал кувшин. — Старшую звали Энка, меньшую — Нора; она вышла замуж за кого-то из Йовчевых, тех, что живут через дом, прямо рядом с кладбищем, — сказал он.

— Иди ты, ничего я не забыла! Вали отсюда, тебе говорят, — продолжила люлька, махнув нарисованными цветами, а я подошел к окну и посмотрел на ловушку: птицы кружатся над двором, разносят на крыльях снег.

В хлопке тепло, как в утробе. Я знаю, потому что это мне снилось. Мне кажется, что человек во сне отступает назад, как будто возвращается в утробу матери, чтобы избежать борьбы, а также ответственности и стрессов, которые приносит жизнь, — говорю я себе. Я отодвигаю кувшин и забираюсь в хлопок.

— Как измерить беду, — думаю я, глядя на весы на стене.

— А ты знаешь, что такое беда, — спрашивает серп, заткнутый между кирпичами. — Я вот жну, только свист стоит. На меня капают капли пота. Рука забывает про другую руку, такое часто бывает. Множеством пальцев я усеял стерню. Но палец всего лишь палец. Даже если его нет, переживешь. Жизнь без пальца возможна, а палец без жизни — нет. У беды, скажу тебе, самые разные лица. Взять твою бабушку Энку. Она сильно страдала. В семнадцать лет вышла за твоего дедушку Илью, который служил в этом доме. Его отец Нестор тоже на себе испытал, что такое беда, он был испольтщиком. Сначала его хозяином был Мустафа-ага, потом Омербей в том же селе. Он был женат на Лене, у них было четверо детей: Роса, Георг, Илья и Пешо. Лена и маленький Георг умерли в один день. Нестору тогда пришлось выкопать обе могилы самому, потому что в то время могилы умершим копали члены семьи, другие боялись болезни. Он остался жить в деревне с дочерью Росой и сыном Пешо, а тот, кто стал твоим дедом, отправился искать счастья по миру, — говоря, серп дрожит, словно хочет защититься от света, падающего сбоку.

— И во всем мире он нашел именно это, — объясняют весы. Я слышу сначала кур в хлеву, а потом собаку, лающую на зябликов, сидящих на сливе. Между временем, наваливающимся на крышу, и воронами, каркающими в вязах, мерцает стоящая на столе лампа, и все как-то ускоряется, густеет, и я уже теряю

нить, кто говорит, да это и неважно, — думаю я, глядя на сундук, стоящий внизу.

— Что он нашел, — не твое дело, — продолжает серп. — И Нуша — страдающая душа, — добавляет он. — Ее брат Ристо вместе со своим сыном и невесткой отправился в город за покупками на свадьбу, которая должна была состояться через несколько дней. На обратном пути их подстерегли какие-то люди и убили, порубав на куски ятаганами. Комиссия, приехавшая, чтобы расследовать это дело, получила взятку — пять лир и безрезультатно вернулась обратно. Позже выяснилось, что причиной резни стало то, что семья покинула поместье своего бая и самовольно ушла к другому.

Я перестаю думать про сундук и смотрю на паука, парящего в углу. Вдруг все как-то размывается, и появляется Роса Несторова, сестра деда Ильи, которая была замужем за Диме Грековым Стефановым. У них было трое детей: Блажо, Фидан и Тодор. Пешо Несторов был женат на Цвете Соколовой, от которой у него родился сын Младен, появившийся на свет во время Апрельской войны. Он был на пять лет младше моего отца. Пешо Несторов, дядя моего отца, погиб на фронте. Младен женился на Ангелине из Чичево, сейчас они живут в столице, у них две дочери. Это я прочитал в тетрадке Миле Пейкуре. Когда Диме Греков Стефанов умер, оставив детей сиротами, Роса Несторова повторно вышла замуж в городе за Томислава Могильщика. Через несколько

лет у них родился сын Петр. В то время или чуть позже дочь Тодора умерла от дифтерии. Старший сын Блажо Греков Стефанов погиб на Сремском фронте, а второй сын, Фидан Греков Стефанов, жил в селе до освобождения, а потом переехал в город и работал телефонистом в больнице.

— А твой дедушка Илья умер перед концом войны, — говорят весы, подвешенные к плугу. — У него с Энкой было двенадцать детей. Восемь выжили. Один из них — твой отец.

— Вещи их всех помнят, — говорю я себе, глядя на люльку.

— Баю-баюшки-баю, — слышу, как напевает она. — Засыпайте — и ты, старшая, и ты, вторая, и ты, Любомир, и ты, кто за ним, и ты, Миле, и ты, кто после него, и ты, Лиля, и ты, Георгий, младший, посмертный, баю-баюшки-баю!

В живых у них остались четыре дочери и четыре сына. Четверо умерли в младенчестве. Только Султана умерла, когда была постарше — ей было восемь лет. Потом, когда живые выросли...

— Понятно, что только они и растут, — прерывает ее паук, плетущий в люльке паутину.

— Баба Энка осталась одна, — продолжает рассказ ткацкий станок. — А когда вы возвратились в деревню, она не могла заснуть от радости; переставила все в подвале; закрыла кур в курятнике; петуха с певческим даром заперла в чулане; она несколько раз мела двор, убирала все камешки, не знала, что

еще сделать, чтобы показать вам, что она счастлива. И хотя время ее уже всю согнуло, она два раза в день на собственном горбе носила в сад твоего брата, того, что родился в городе три года назад. Там они рвали зелень, собирали васильки и бархатцы, и опять тем же манером — ребенок у нее на спине, а она с корзиной в руке — возвращались домой. Потом за домом, в тенежке он заставлял ее спрашивать у кур, когда те снесут деревянные яйца.

(мысль есть действие)

Тем временем, ожидая, когда появятся деревянные яйца, чтобы биться ими на Пасху, мальчик лопал во дворе землю; он очень любил есть землю, а я должен был смотреть, чтобы он этого не делал.

— Глаз с него не спускай! Он такой шустрый, — говорит мне мама перед тем как пойти к колодцу. И правда! Как только она зашагает по тропинке, он уже бродит по двору, придумывая, как бы меня обмануть. И всегда находит возможность ухватить черной земли, той, что у ворот, или красной, той, что у сливы, или белой, той, что под железным седлом у акации.

— Яблоко от яблони далеко не укатится, — говорю я себе. У бабушки Энки тоже были особые отношения с землей. Она знала, в каком точно месте находится та земля, которая была ей нужна для разных вещей. Она знала, где земля для маджуна, где для

тыквенного варенья с кунжутом; знала, какой землей чистить посуду, а какая годится для деревянного пола в нижней комнате.

У нас во дворе росла акация, очень старая, с глубокими корнями. У нее остались только две короткие ветки, которые были похожи на руки. Ничто не могло ее пошатнуть, хотя ствол дерева давно был сухим. Баба Энка привязывала к одной из веток качели. Веревка скрипела, качели качались, и вместе с ней, как будто пританцовывая, покачивалась и акация. Мой брат не любил качелей; он сидел, прислонившись к стволу дерева, копал, словно ища корни; и нагребал землю себе на ноги и живот. Копал он ложкой и все время тащил ее вверх, прижимал к груди и, что-то бормоча, жаловался, что я на него смотрю. Я слышал, как он шмыгал носом, а потом вдруг перестал. Я сразу же обернулся, но он уже вынимал ложку изо рта. Я подбежал, чтобы шлепнуть его, но в этот момент внизу, где-то внутри, что-то будто надломилось — ствол тихонько скрипнул, вздрогнул и стал падать. Я ухватил брата за руку, потянул к себе, а акация рухнула и покатилась по склону на берег.

Птицы, привыкшие садиться на дерево, в изумлении махали крыльями, желая вернуться туда, где еще существовал полюбившийся им и запавший в память сук. Одна сорока упорно вертела хвостом, думая, что сидит на ветке. И наша кошка, поднявшись в воздухе почти до того места, где мы привязывали качели, вытянула там лапы и попыталась свернуться

в клубок, но тут же грохнулась в крапиву. И пес попал Шакотке тоже был заморожен акацией; всякий раз, приходя сюда, он опирался передними лапами на ее ствол и старался припомнить, что он зарыл у корня, потом выкапывал и уходил вместе с мухами, которые следовали за ним, составляя в воздухе еще одну собаку. И сегодня он сделал то же самое, но хлопнулся мордой в пыль, посмотрел вверх, поджал хвост и с визгом убежал, как побитый. Несколько дней я наблюдал, как куры продолжали верить, что акация все еще здесь. Мне было интересно, сколько времени им понадобится, чтобы понять, что ее больше нет, и забыть о ней. Я понимал, что воспоминания — это тоска по утраченному нами времени. Только время, о котором помнят — наше время. Память об акации — это не акация, — хотел я сказать птицам, трепыхающимся в воздухе после неудачных попыток сесть на ветки, которые они помнили. Только одна горлица с ожерельем на шее вела себя так, как будто ничего не случилось; она сделала круг над двором, поднялась над домом и оттуда, отталкивая воздух крыльями, чтобы остановиться, приземлилась прямо на свою ветку. Помахивая хвостом, она подняла голову и начала ворковать, явно радуясь. Я не понимал, как она это сделала, но знал, что существует нечто намного большее, чем то, что нам видно, так что некоторые вещи никогда не смогут быть поняты.

— Должна быть идея, — подсказал мне Миле Пейкуре из ниоткуда. — Идея — всё, пространство —

ничто. Можно сидеть на ветке, которой нет, если есть идея, если знаешь, как. Мысль есть действие. Способ — это воля; воля — это дерево, — закончил он и исчез в тишине.

Поп Шако измерил ствол акации — тщательно, пядь за пядью, утомился, перекинул ногу и сел. В тот момент невысокий морщинистый мужичонка остановился на тропинке и стал спрашивать Шако, как долго ему следует поститься, чтобы получить отпущение грехов. — Будешь поститься, пока не вернешься в землю, из которой был взят, потому что ты земля, и в землю вернешься, — пробормотал поп Шако. — Время в нас не может сдвинуться само, — добавил он, а человек засуетился и быстро исчез за тыквами.

— Во всяком случае, несмотря ни на что, при всех ее недостатках, вы полюбили деревню как убежище, — продолжала люлька. — Полюбили кувшины, бутылки в корзинах, кадушки, бочку, в которой вы прятались, железное седло, на котором вы катались со снежной горки, лестницу, ведущую в верхнюю комнату, ласточек, гнездящихся под стрехами, речушку, протекающую по деревне, водяные мельницы, — добавила она, и потом в доме снова воцарилась тишина. Не дрожала паутина в углу, не мерцала лампа над бочкой, не качалась лежанка, стоявшая у стены, не скрипели деревянные ставни на окошке в двери.

— Зачем это окно в двери? — подумал я. — Что люди видели в нем? Или оно не для того, чтобы в него смотреть? Может, оно для ласточек? Когда дверь

была открыта, они влетали внутрь, вили гнезда под стропилами, а бабушка Энка боялась их спугнуть. Дом с гнездом — счастливый дом. Грех — разорить гнездо или тронуть яйца. Дверь не могла быть открытой постоянно. Поэтому люди открывали это окошко. Два старых гнезда до сих пор остались на столбе рядом с серпом.

— У ласточки два дома в двух сторонах света, — говорил Миле Пейкуре, глядя на неоперившихся птенцов, щебечущих под карнизами школы. Он всякий раз от души радовался каждому из них, и когда приходил в школу, и когда уходил. — Но знаешь, — как-то сказал он, — здесь ее родина, потому что здесь она откладывает яйца, здесь выводит птенцов; она улетает на юг, только чтобы не замерзнуть.

В нижней комнате я мог охотиться за временем, прошедшим сквозь вещи. Я мог слушать их часами и верить, что все было так. Я прислушивался к дыханию давно ушедших людей, я открывал их души, я чувствовал, как их руки прикасаются к времени, которое, как нам кажется, ушло.

— Что я без того, что было, — думал я отрешенно, и вдруг услышал, как что-то хлопнуло во дворе. Я повернулся к двери — она была открыта — и увидел, что упал таз. Я медленно вышел, подошел ближе, но побоялся поднять его; такой человек, как я, всегда ожидает худшего, поэтому я просто топтался на снегу вокруг упавшего таза. Мама, увидев меня на дворе, вышла из дома и, не раздумывая, подняла таз. Под

ним был мой страх! — Как же ужасен страх! — пронеслось в моей голове. Я побежал, чтобы успеть войти в дом, прежде чем закроется дверь. Это был момент, который мне не забыть никогда.

(временно скрепленные страницы)

Когда звук радио в Доме замолкал надолго, Миле Пейкуре выключал аппарат, не дожидаясь, когда вещание возобновится, затапливал печку, в которой трещали дрова, и начинал рассуждать о жизни и смерти.

— Жизнь — ампутированное время вечности. И жизнь знает, что это так, но не признает этого. И когда нечто уже не является ее частью, мы ощущаем его так, как будто оно все еще здесь. Как, например, моя ступня, — говорил он, доставая из сумки тетрадку, которую я ему недавно вернул. В тот момент я заметил, что вышивка на сумке такая же, как на носках.

— Вот тут песня о битве под Биково, — говорит Миле, кладя тетрадь себе на колени. — В деревне нет человека, который ее не знает. Тебе надо ее выучить.

Он показал мне какую-то обложку. На картинке было изображено: воевода сидит на стуле и расчесывает бороду. Он явно не боится башибузуков, он ждет, когда они нападут.

— Несколько лет назад я сравнил время и понял, что это произошло как раз тогда, когда нашли самый

большой алмаз в мире. Какую чушь пишут в книгах, просто удивительно! Если вчитаться внимательно, то становится ясно, что в мире царит хаос.

Воевода со своими бойцами стоял в доме Трайко Йовкова Клинчарова. По его приказу там собрались староста, учитель Ифтим Поцев, виднейшие жители деревни и сельские священники Захария Кимов, Петре Димов и поп Пейко со своим зятем Ристо Пейковым. Когда разговор о партизанских делах закончился, исполщик Ицо Тулов робко пожаловался, что поп Пейко взял с него за крещение тридцать грошей, а по тарифу полагалось взять всего пять. К тому же он не выдал ему свидетельство, а его сыну уже восемнадцать лет. И все это время Ицо умолял его отдать ему свидетельство о крещении, но священник делал вид, что не слышит, переводя разговор на другие темы. Воевода спросил, есть ли у священника, что сказать по этому поводу, но поп Пейко сознаваться не хотел. Тогда священник Петре Димов велел своему старшему коллеге, которому было лет шестьдесят, вернуть деньги и не позорить церковь. Возмущенный поступком попа Пейко, Лазо Ридов-Асия схватил его за бороду и заставил склониться перед сельчанами. Воевода тогда встал и сказал: «Поп, народ тебя осудил, а я, на первый раз, всё же тебя прощаю, но второй раз — смотри, с грехом на душе передо мной не появляйся!» И потом все разошлись по домам, а партизаны стали на постой у Дафче Кареова, Гело Бикова, Коцо Ласкова и Трайко Клинчарова. Их приняли

радушно. Для них приготовили еду и питье, напекли пирогов. Лучшей хозяйкой оказалась Евда Кареева, жена Дафче Кареева. Она была из города, дочь Петре Видова. Она была лично знакома с воеводой и некоторыми партизанами.

Когда сойдет снег, — говорит Миле Пейкуре, — ты увидишь, где был ее дом. Дома там сейчас нет, но место осталось. Если знать, где он был, можно его представить, — говорит он. — Озеро дойдет как раз до него, до этого места.

Во дворе человека, который был самым богатым в деревне, образуется залив, — объясняет Миле Пейкуре, засовывая свою тетрадку под радио. — А песню знают все, кто имеет хоть какое-то отношение к деревне. Тебе тоже нужно ее выучить, — снова сказал он и вернулся к рассказу о попе Пейко. — Тот всю ночь не мог сомкнуть глаз. Ходил по балкону, мазал пострадавший подбородок ракией. На рассвете, в день святого Павла, с первыми петухами он сел на осла и уехал, и никто его не видел.

Как только он добрался до города, то свернул в проулок, где жил Шефки Али-бей. Собаки вскинулись, начали царапаться в ворота; сторож их успокоил, оттащил на задний двор и вернулся, чтобы открыть ему. Войдя в покои каймакама, поп Пейко сразу сказал, что партизан Добри Даскалов в деревне, рассказал также и про бороду. Выхлебал кофе, и повторил то же самое перед юзбаши. Сказал, что партизаны, вместе с Лазо, тем, который выдрал ему бороду, нахо-

дились в доме Трайко Клинчарова. Шефки Али-бей спросил, хорошо ли он подумал, прежде чем прийти к нему с доносом. Знает ли он, что будет дальше?

В то время деревню, в которой укрывали партизан, сносили до основания, и пощады не давали никому. Поп выпил вторую чашку кофе и съел лукум, но когда он услышал, что деревня будет разрушена, то задрожал, поняв, что натворил.

На рассвете солдаты были уже на окраине деревни. Воевода и партизаны находились в укрытиях под домами Дафче Кареова и Ило Бикова. Два дома были в сотне метров друг от друга. Когда снег стает, я тебе покажу, тоннель все еще существует, — говорит Миле Пейкуре, поворачиваясь к печке то одним, то другим боком. — Мулазим, который вел поиски, сразу приказал позвать старосту и священников. В деревне из трех священников оставался только поп Захария. Поп Петре уехал в соседнюю деревню, а поп Пейко был еще в городе. Священника Захарию заставили входить в дома вместе с солдатами. В хлеву Ило Бикова они нашли учителя Ефтима Поцева. Солдаты вытащили его, стали бить прикладами, а учитель кричал, молил о пощаде, уверял, что он не партизан, а учитель. В доме были маленькие дети, они испугались и начали орать и плакать. Тогда Лазо Асия подумал, что солдаты стали приставать к девочкам, вылез из укрытия и вместе с воеводой стал стрелять в турок. Через несколько часов те начали жечь дома. Первым подожгли дом Дафче Кареова.

В его дворе было двадцать кубов дров для выгонки самогона, пять котлов, давилка с четырьмя большими емкостями для винограда, три бочки с десятью тысячами ок жмыха и еще шесть с двумя тысячами ок. Еще было шесть бочек ракии по тысяче литров каждая и столько же бочек вина. Дафче по-крупному торговал вином и ракией. А также маджуном. Во дворе у него был амбар с зерном, а на сеновале и в доме — оружие и боеприпасы. Когда огонь охватил бочки, пламя вынудило турецких солдат отойти к реке. Бочки с ракией стали лопаться; солдаты бросились бежать, чтобы спрятаться на кладбище, тайно крестясь при этом. Позже они вернулись и бросили в огонь, охвативший сарай Дафче Кареова, старуху, проклинавшую их. В пристройке к дому сгорел ее пятилетний внук Лазар. Мальчик пытался выбраться и сумел найти дверь, но кто-то из солдат толкнул его обратно в огонь. В одной из стен были спрятаны золотые монеты. Из-за высокой температуры от горевшей в подвале ракии золото расплавилось и потекло по каменным плитам двора. Его собрали, когда оно остыло, — говорит Миле Пейкуре, глядя в окно, и рассказывает дальше — про женщин и детей, облитых керосином и сожженных, и воеводу, который бился, пока не кончились боеприпасы. В темноте ему удалось прорваться через кольцо. Воевода знал, что в случившемся был виноват священник Пейко. Было принято безотлагательное решение убить его, а исполнить казнь должен был сын Пейко Тодор.

Вот что произошло шестьдесят лет назад, так что ты попал не в обычную деревню, — сказал мне Миле.

А как ты думаешь, что сделал его сын? Убил его? Или, может быть, предупредил, чтобы тот скрылся, сбежал? В тетрадке написано, что поп Тодор отказался приводить приговор в исполнение, хотя и признал ошибку и грех своего отца. Как священнослужитель я не могу лишать кого-либо жизни, — объяснил он. И его жена, Траяна, также отказалась исполнить приговор, сказав, что как женщина она не может совершить такой поступок. Тогда было принято решение выманить попа Пейко из деревни, и на эту работу был назначен человек из верхнего села. Он позвал Пейко на похороны, сказав, что его мать якобы умерла. Поп должен был отпеть покойницу. У Змеева колодца их поджидал Андон Кесето. Песня кончается словами про бороду воеводы: ***бороду себе чесал и всех турок распугал!***

Когда он закончил рассказывать про турок, то вернулся к деревне и жившим в ней людям, их семьям. Он знал всех по именам и по душам. И он знал, кто они и откуда.

— В деревне на главной улице был базар с лавками. Одно время в округе было пять торговцев скотом, шесть бакалейщиков, пекарь, два кузнеца, подковщик, шорник и лекарь. На реке, что теперь впадает в озеро, стояли тринадцать мельниц. Воды было — сколько хочешь, она никогда не меле-

ла, — сказал он, кивая на окно. Во дворе бегали дети, все в снегу, как снеговики, среди них Меглена и мальчик с ярко-рыжими волосами. Как будто их покрасил глухонемой маляр из Шумана Гиго, — подумал я. Миле Пейкуре открыл дверь и пригласил их войти. В руке он держал листок бумаги, который он вынул из тетрадной обложки. Сказал, что он старинный, с орлами. — Похоже, из какого-то письма, — сказал он. — Каллиграфический почерк, упрощенное правописание, без лишних знаков. Но дописано попом Шако. Я знаю его почерк, — добавил он. — Обратите внимание, того, что тут написано, раньше никто не видел; будет очень любопытно, более того, интересно. Возьмите его и идите по домам. Прочитайте людям то, что о них написано, а за это берите, сколько дадут, любую мелочь, ничем не брезгуйте. Если соберем достаточно, то сделаем лодку, будем катать по озеру туристов, зарабатывать деньги. И заодно проверим, верно ли то, что написал поп Шако — придумал ли он это или у него были доказательства. Если у него были доказательства, то как он их получил? Я бы тоже пошел по дворам, но коляска не едет по дорогам из-за распутицы. Я буду ждать вас здесь, — сказал он и закрыл дверь.

— Мы говорим Лалковым, что они старожилы, коренные жители, такие же, как Дековы, Биковы, Палитовы, Каревы. И все славят разных святых. Первые своим семейным святым считают Николая Угодника, вторые — Георгия Победоносца, третьи —

Михаила Архангела. Клинчаровы приехали из Горничево, из Реляна, сто с лишним лет назад. Братья Лазар, Йован и Ристо спаслись от преследований Али-паши Янинского. Они были подковщиками, кузнецами, вот и здесь продолжили заниматься своим ремеслом. Покровителем семьи считали Святого Димитрия, так же, как и мы здесь, в долине, — говорю я себе.

Во дворе Алексо Клинчарова у ворот стоит надгробный памятник с двумя мужчинами и двумя женщинами; правые ладони у них прижаты к груди, а левые опущены вниз. С другой стороны ворот стоит еще одно надгробие: ребенок и две женщины, у которых левые руки прижаты к груди, а правые опущены вниз.

— Кто знает, что это значит, — думал я, глядя плиту, а на самом деле касаясь руки Меглены. А она ее не убирает — улыбается... В этот момент мальчик с ржыми волосами втыкается между нами, как шило. Он тоже хочет прикоснуться к мрамору.

Через некоторое время мы выходим из двора Клинчаровых, спускаемся во двор Шоповых, читаем им то, что написано на листке, но ничего от них не получаем — похоже, мы только получили бы по тумаку, если бы вовремя не убежали, перепрыгнув через ограду. Мы-то что? Что-то плохое им сказали, что братья Шоповы в ярости вскочили со стульев и схватили по пруту, приготовленному, чтобы плести корзины?

(несколько выпавших страниц)

— Что вы им сказали? — спросил позже Миле Пейкуре.

— Мы сказали им, что их предки пришли в уго-
дья Синановцев сто пятьдесят лет тому назад, что они
были упрямыми, ленивыми и скаредными, поэтому
местные называли их *шопами* и считали бесполез-
ными, ни на что не годными людьми. А еще там напи-
сано: Брат за брата, шопы за деньги!

Я сразу делаю вывод: это написал поп Шако.

— Другого варианта нет, — говорит Миле Пейкуре. — К ним в дом никто так просто не зайдет. Да они и не пустят.

— Как только мы им прочитали, что они жа-
дины, они вскочили и попытались выхватить наш
листок, но мы оказались быстрее, слиняли, прежде
чем они успели хлестнуть нас прутьями.

— Правда не всегда приятна, — говорит Миле Пейкуре. — Даже если ее высказал поп Шако. Глав-
ным образом это церковные записи; большая их часть
появилась задолго до него. Может быть, их сделал
поп Захария, поп Петре или, не дай Бог, поп Пейко,
тот, которому выдрали бороду, — говорит он.

— Кто бы их ни написал, выводил их крупными
буквами, используя редкие теперь слова и буквы, ко-
торых нет в современном алфавите, слова легко опо-
знаются и с ними; мы читаем их так, как будто их
не существует, — подумал я.

Через некоторое время мы дошли до двора Камчевых; прочитали им, что они пришли с большой реки, что они не из здешних, как они утверждают, что они ошибаются, если думают, что они коренные жители этого края. Правда, в деревне они живут уже сто лет, а когда пришли сюда, то принесли с собой традицию прославлять Николая Угодника. Сначала Камчевы не верили, что так написано на листе, но когда это прочитал тот, кто прочитал, то есть тот, кто умел читать, то покачал головой, как будто не верил, но все-таки бросил нам мелочь, как мы попросили.

И Камчевы не коренные жители этих мест, хотя и утверждают обратное. Они пришли вместе с Йовчевыми. И даже в деревне у камыша они тоже не были коренными. В ту деревню они приехали из Азота за пятьдесят лет до того, как решили переселиться в нашу деревню. И они, так написано, празднуют святого Николая.

Что касается Точковых, я думал, что они всегда жили здесь, что они ниоткуда не пришли, но и о них говорится, что они переселились сюда с болота сто с лишним лет назад. Я стал считать и понял — выходит, что они пришли в деревню ровно сто двадцать три года назад. Вместе с ними пришли Айтовы, но в отличие от Точковых, которые празднуют святого Георгия, Айтовы почитают за покровителя их семьи святого Николая. Наш дом стена в стену с домом Айтовых. И поля большей частью граничат с их полями.

Наша фамилия Нушины или Несторовы, но нас нет в списке ни как Нушиных по бабе Нуше, ни как Несторовых по деду Нестору. Вижу, что нас нет и под фамилией Илиевы по деду Илье. Может быть, мы из Айтовых, тех, кто вместе с Точковыми пришли с болот? Кстати, может, поэтому у них глаза, выпученные, как у лягушки? — говорю я себе, — Может, это от влаги? У меня, вот, совсем другие. У меня заячьи глаза и заячье сердце. Ничего общего с лягушками.

Меглена ничего не говорит. Что она скажет, когда я молчу, как дурак, — подумал я. Она смотрит на меня, берет листок и выбирает дома, где, по ее мнению, мы можем что-нибудь получить за работу.

— Многие истины неизвестны, но от этого они не перестают быть истинами, — говорю я себе. — Но интересно, каждый ли хочет знать, откуда и когда пришли его предки, и кем они были? Узнать о них все, и хорошее, и плохое. Например, Пригожевы, у них самая привлекательная фамилия в деревне, но и они не отсюда, а откуда-то пришли. Братья с бакенбардами, завидев нас, говорят, что не хотят ничего знать, они грузят на лошадь солому для коров, которых они держат за деревней, но потом они передумывают. Видно, их одолевают какие-то сомнения, и они останавливают нас у ворот. Меглена разворачивает лист; близнецы привязывают лошадь к лозе, скрещивают руки и ждут, когда она начнет. Меглена читает, что они пришли от Стены дьявола сто семьдесят семь лет назад; называет год, в котором это записано, не про-

пускает его — чтобы не сказали, что она что-то там выдумывает. Далее Меглена читает, что их напугала некая сила, которая превращала мужчин в женщин, а женщин в мужчин, и что с тех пор мужчины в их роду носят бакенбарды, а женщины косы.

Нам повезло в доме у Грековых. Они очень хотели, чтобы мы им прочитали бумагу, и сильно обрадовались, когда мы сказали им, что их род происходит от священника Паско, который сто лет назад приехал в эти края из верхних деревень. Он принял монашество. Ему было сорок лет, когда он вышел из монахов и женился на Солунке, и от нее родился его единственный сын Кирилл. Во дворе были два сына Кирилла; черные, как вороны; они тыкали снег посохами, на которые опирались, и радовались, слушая то, что было написано. Они думали, что ведут свой род от торговца вином из Бера, который умер вскоре после рождения Кирилла. Их бабушка Солунка умерла, когда они были маленькими; так что ее спросить они не успели. На прощание они даже помахали нам своими палками, когда мы от них уходили.

По дороге к дому Вороновых Коле, тот, у кого были ярко-рыжие волосы, сказал, что на один из посохов сел ворон. Никто другой из нас этого не видел. Иногда хорошо узнать то, чего не знаешь, если это существует в реальности, а не выдуманно. Если это выдуманно — его нет! Существует только то, что не выдуманно, — говорю я себе. Существует, хоть мы

это и не видим, — подумал я, прежде чем мы вошли к Вороновым. Вороновы хвастались, что они не пришедшие, что они с незапамятных времен жили здесь, в деревне. Как выяснилось, на самом деле они пришли из Куклицы, долины кукол.

В прежнее время туда приходили те, кто не мог иметь детей. Им надо было соскрести немного известняка с каменных столбов, похожих на человеческие фигуры, смешать его с буйволиным молоком, добавить туда несколько капель меда и выпить эту смесь. Меглена читала, что эти фигуры и вправду излучают какую-то особую энергию. Далее молодым супругам следовало заниматься любовью рядом со скульптурами, чтобы некая природная сила могла помочь им достичь желанной цели. Братья Вороновы убежали из Куклицы, потому что тамошние женщины не могли выносить плод, и пришли сюда, в это село. Ристо пошел в работники к Пейковым почти в то самое время, когда попу Пейко выдрали бороду, а Глигор десятью годами позже купил неподалеку участок под дом и завел семью. Один брат обосновался рядом с церковью, другой рядом с кладбищем. И они больше никогда не ездили в Куклицу. Они так и не узнали, кто убил священника Пейко и куда дел тело.

Я перелистываю страницы, чтобы убедиться, что это так, и внезапно вздрагиваю от рези в глазу.

— Не переусердствуй, не увлекайся, — говорит пылинка, залетевшая мне в глаз. — Ты сейчас пишешь не о Вечном городе, а о каком-то, не знаю, о каком,

совершенно неважном, незначимом месте, которое когда-нибудь исчезнет, как будто его и не было!

— Оно, конечно, исчезнет, но важно, что в нем все же есть чему и кому исчезать. В нем были храбрые семейства, такие как Клинчаровы, Дрваровы, Тодоровы, Каревы, Биковы, Ласковы, а были и предатели вроде Пейковых, а нас нет ни среди первых, ни среди вторых. Нет нас и среди Гюлутковых, Точковых, Палитовых, Топчиевых, Джулановых и Трчаловых. Нас нигде нет. Что лучше — чтобы тебя нигде не было, или чтобы ты все-таки был, пусть и там, где лучше бы тебя не было, — думаю я и бегу помочиться за трансформаторной будкой.

(перерыв по очевидным причинам)

За несколько дней мы обошли все дома в деревне, но того, что собрали, не хватило не то что на лодку, но даже и на весло. Доходы от бизнеса мы потратили на личные нужды. Когда мы с этим закончили, Миле Пейкуре достал из-под радио тетрадку с записями, вложил в нее лист и сказал, что ее нужно вернуть в церковь. Мы тащили палочки — кому нести; короткую вытащил я.

Внизу уже стемнело, а над домами, стоявшими повыше, небо было еще светлое. По спине у меня бежали мурашки. Мне казалось, что семнадцать голов, закопанных рядом с колокольной, следят за мной

из-за стены. Как пройти мимо них, вдруг они меня что-нибудь спросят, — думал я. А ведь мне нужно не только войти во двор, но и дойти до алтаря, снять третью от лестницы плитку и положить тетрадку в углубление. Миле Пейкуре объяснил, что ее надо вернуть до Богоявления, потому что, если не вернуть вовремя, то тот, кто прикасался к ней, будет проклят всеми святыми и превратится в прах.

— Поторопись, — говорит он, протягивая мне тетрадку. Я сунул ее себе за пазуху и похолодел. Я топал на лестнице, якобы для того, чтобы стряхнуть с ног снег, а на самом деле, чтобы вернуть сердце из пяток на свое место. Мне надо было поскорее сделать дело, но первые сумерки еще не наступили, и сторож все еще возился на крыльце, глядя, кто входит, а кто выходит из церкви. Я подумал, что лучше всего будет подойти к церкви поближе, подождать, пока он уйдет, перепрыгнуть через ограду, войти на крыльцо, залезть внутрь здания, положить тетрадь на место, а потом так же быстро или даже еще быстрее убежать до того, как сова слетит с креста.

Было уже темно, но я в ожидании подходящего момента, сидя на корточках перед колокольной, решил еще раз открыть тетрадку. Я увидел то же самое: Лалковы, Биковы, Камчевы, Точковы, Айтовы, Дрваровы, которые пришли в деревню сто лет назад, Кичевы и Шиковы, которые пришли восемьдесят лет назад... Я добрался до Курлевых, а когда дошел до них, появился некий Илья, который стал

примаком у Айтовых шестьдесят лет назад. И моего деда звали Илья, и он был примак. Может быть, у Айтовых. Если нет, то зачем было делить дом, а заодно и поля. Нет у нас поля, которое не граничило бы с полем их, Айтовых. И Чаир, и Лаки, и Рамниште... И Чаковец, — добавляет дергач, забывший эмигрировать; он хмуро смотрит на меня, ковыряясь в снегу. — У тебя есть право так думать, — говорит он и взлетает на стенку с семнадцатью головами. Но даже если так, — говорю я, — если этот Илья и есть мой дед Илья, должна ли фамилия нашей семьи быть Курлевы? Я никогда не слышал, что мы Курлевы. И почему Курлевы? Не знаю, — говорит дергач, — подумай! И я думаю, а потом говорю себе, что, может быть, именно из-за фамилии, которую они хотели забыть, у всех моих дядей фамилии разные, как будто они не братья. Вот видишь, — проскрипела пичужка с короной на голове и вспорхнула, приземлившись на пятьдесят метров выше, в снег. В любом случае список заканчивается Курлевыми, но в скобках добавлено, что Коте Курлев попал в тюрьму в связи с Дреновским делом, потому что он был сильным, вспыльчивым и мужественным, а некий Трайко Курлев из Купурли был связан с предательством Апостола Петкова. То, что в скобках, написано почерком попа Шако, и кто теперь разберется, что там правда, что нет. Чуть ниже написано, что село сгорело летом 1905 года, 30 дня месяца июня. Пономарь Илья. Это наверное другой Илья. Дедушка, насколько мне из-

вестно, никогда не был пономарем. Я знаю, что он играл на скрипке, и всё. Умер на сеновале. В доме места для него не было. Двенадцать детей спали рядом, как котята. Четверо так и не выросли. Куда пропала семья Курлевых, — подумал я, закрыл тетрадь, и в этот момент, как будто все зависело от тетради, разом стемнело — с колокольни упала тьма; сторож закрыл ворота и направился к реке. В тот же миг я вскочил, прыгнул на крыльцо, оставив у ограды сверчка, скребшегося у меня на сердце, вошел в церковь, сунул тетрадь в ямку у алтаря, как мне было сказано, положил на место красный ковер, скрывавший плиты пола, и выбежал тем же путем, что и пришел. Сверчка я подобрал перед тем как спрыгнуть со стены, и теперь он скребся где-то в животе.

Через некоторое время я добрался до двора. Снег пенился вокруг нашего половинного дома. Половину Айтовых давно снесли, но они построили новый на ровном месте метров на десять выше. В той части, что все еще держится, а это половина дома, есть только одна комната наверху и одна внизу, хлев рядом с лестницей и подвал под комнатой с деревянным балкончиком. К подвалу лепится комната из ивняка, пристроенная позже, после сноса половины Айтовых. Мы, Курлевы, если мы и вправду Курлевы, остались жить в половине дома как половина семьи: наполовину правдивые, наполовину лживые; наполовину любящие, наполовину ненавидящие; наполовину хорошие, наполовину плохие; наполо-

вину бедные, наполовину еще беднее; наполовину безграмотные, наполовину полуграмотные, но даже в такой семье со временем многое проходит, а то, что остается и существует, существует без оглядки на то, что было.

(все во мне плачет)

Перед началом следующего года, а годы начинаются с конца того, чего нет, они не начинаются с начала, во дворе школы произошло нечто чудесное, великолепное, неожиданное и так далее в том же духе. Божественное, как сказал бы Миле Пейкуре. Да и я так считаю, — говорю я себе.

Мирна закончила урок, взяла журнал и направилась в учительскую. Дети собирали тетрадки, а Драган Галун, дабы любой ценой привлечь к себе внимание, а так делают те, кто по-другому не умеет, выпрыгнул в окно — ну, чтобы не выходить через дверь, как все. Никто не встал, не подошел к окну, чтобы посмотреть, как он плюхнулся в снег, и никто не сказал про него ни слова, пока мы надевали пальто. И все бы закончилось так, как заслуживают те, кто не понимает, что насильно мил не будешь, если бы в момент, когда мы направились к двери, мы бы не услышали его голос, голос Драгана Галуна, но на этот раз не как крик, а как нечто, ни на что не похожее — какие-то приглушенные, неясные звуки.

В тот же миг мы столпились у окна — с веток падал снег и собирался кругами вокруг ствола растущей во дворе акации. Мы увидели Драгана, торчащего из сугроба, зарытого в нем по грудь, лицом обращенного к акации так, что нам его не было видно.

Мы в возбуждении, толкаясь, выбежали из класса, столпились у выхода. Когда мы открыли дверь во двор, точнее — ее открыла Меглена, то увидели такое, что раньше мы видели только на картинках. В учебниках так иллюстрировали уроки на тему зимы. Перед нами был снеговик со всеми атрибутами, даже с метлой в руке; были семь эльфов и девушка ростом с акацию; было иглу с эскимосами, сани с оленями и лодка из снега с двумя веслами; было много всяких других удивительных вещей. Мы заметили, что кто-то сидит в иглу, хотели проверить, но в дверях появилась Мирна, и мы отвлеклись на нее, да так и не поняли, когда ее муж вышел из сказки и встал рядом с оленями и санями. Он был одет как Дед Мороз, с мешком на плече. — Как ему удалось создать такое из снега, — подумал я, подошел к Меглене поближе и взял ее за руку. «Я не знаю», — сказала она, как будто услышала. Я сделал это впервые и больше решил не делать этого никогда. Одно дело — прикоснуться случайно, другое — дотронуться намеренно.

— Разве такое сможет случиться с тобой снова, если ты будешь трястись, как сорока, — сказал я себе. — Трястись от страха или от стыда, не имеет значения.

Рука у нее была теплой, как будто она грела ее специально для меня. Я не смог удержать ее, отпустил.

Мирна нагнулась, схватила обеими руками снег, скомкала его, слепила снежок и бросила в мужа; он опустил мешок и сделал то же самое. Тут же во дворе поднялась суматоха, из всех проулков набегали собаки, налетели птицы, которые до этого, сбитые с толку наступлением озера, кружились над деревней, не зная, куда сесть; пришел и почтальон Тасе, который к тому времени уже рассортировал открытки и письма. Я смотрел, как летят и падают снежки, смотрел на пар, идущий изо рта, я видел, как сильно любят друг друга наша учительница Мирна и ее муж Антон, человек, умеющий радоваться.

Потрясенный картиной их счастья, я поверил, что и Драган Галун в это мгновение тоже стал лучше, но, скорее всего, это была всего лишь иллюзия — мне тогда хотелось так думать. Хотя по-настоящему плохих людей не бывает, нет такого в жизненном плане.

Драган Галун оставался Драганом Галуном до того дня, когда произошло то, что произошло в городе. Ему как внуку бойца, павшего на последней войне, многое разрешалось, на многие его проделки смотрели сквозь пальцы, но все равно его оставили на второй год в третьем и четвертом классах, так что он был одним из самых старших в школе, возможно, старше, чем Миле Пейкуре, хотя слишком взрослым он не выглядел. Лицом Драган походил на скривившуюся ворону, так что никто не мог сказать, сколько

ему лет, даже поп Шако, пока не заглянул в свою тетрадку. Потом, поскольку он был внуком героя, его взяли водителем в управу.

Я все еще вижу, как за много лет до этого, в прошлом, которого нет, а про которое говорят, что оно существует, как будто оно здесь, перед нами, Мирна и ее муж входят в школу, а мы идем за ними, как гномы из хрестоматии для третьего класса, и все смотрим на мешок, который, как нам сказали, полон подарков.

Прежде чем закрыть входную дверь, я, шедший последним, увидел, как Драган Галун пнул снежную лодку, и она развалилась вместе с веслами. От себя не убежишь, — подумал я, закрывая за собой дверь, как будто я ничего не видел. А мог бы ему крикнуть: Эй, ты, дерьмо замёрзшее! Но не крикнул, потому что я не такой идиот, как он.

Все в классе получили подарки, а мне достался самый хороший — книга, которую я храню по сей день, надеясь, что когда-нибудь я пойму то, чего не мог понять тогда. Мне подарили книгу про чайку по имени Джонатан Ливингстон. И можно даже не говорить, что я прочитал ее, как только вернулся домой, а потом прочитал еще много раз, и читаю ее сейчас, когда возвращаюсь к тому, что остается с нами везде и всегда, даже когда мы этого не знаем. Иногда человек должен побыть тем, кем никогда не хотел быть; иногда я чувствую себя отступником, который скорбит о том, что упустил, и тут во мне медленно просыпается злоумышленник и начинает отрицать

то, что я утверждал раньше. От этого никуда не деться, — говорю я себе, толкая коляску друга по снегу. И пока мы пробиваем путь по снежной целине, снег вокруг нас тает, как будто мы стираем его ластиком.

— То, что запланировано, должно произойти, — говорит Миле Пейкуре. — Мы такие, какие мы есть, по плану. Со всеми составляющими нас частями; и теми, что нам не нравятся, и теми, которые мы бы хотели забыть, но не можем забыть навсегда, — добавляет он, словно читая мысли у меня в голове. — И если хочешь знать, — говорит он, глядя в зеркальце, в чертеже стереть ничего нельзя. Не получится заложенное в плане стереть ластиком, — продолжает он. — Видишь снег? Завтра снега не будет, но это не значит, что его не было. Он появится снова, когда появится. Как ласточки узнают, когда нужно улетать? И у них есть план, который нельзя стереть. Как я могу забыть, что умею летать? Я умею летать! Когда летишь, важно лететь против ветра, и чтобы пробор был посередине; когда летишь, а ветер в спину, пробор должен быть слева, если ты правша, или справа, если левша; нужно балансировать, потому что одна или другая рука, одна или другая нога всегда сильнее той, которая не является главной. Есть главная нога и главная рука, так же как есть главная и второстепенная дорога, так же как есть главная и второстепенная улица. Это необходимо помнить, чтобы не потерять контроль и не упасть камнем в пространство, над которым пролетаешь. Надо на-

учиться отталкиваться ногой, когда поднимаешься, и тормозить пальцами, особенно большим пальцем ноги, когда опускаешься. Есть много приемов, которые нужно изучить перед тем, как подняться в бесконечность, понятно, если Господь начертал тебе такой дар в плане, потому что не у каждого в плане заложен такой дар, но даже если он есть, многие не умеют им пользоваться, не могут его распознать, — говорит он, и мне все это кажется похожим на чайку по имени Джонатан Ливингстон. — И у него доброе сердце, он подсказывает трюки для хорошего полета, но его трюки не годятся для парения над сушей. Я читал, — сообщает мне Миле, как будто разговаривает со мной, а я молчу, толкаю его по снегу. — И понял, — продолжает он, — что парить, как он, можно только над водой, по идеально ровной линии, которая от начала до конца не меняется, но у нас такой воды нет; такая вода появится только тогда, когда озеро разольется до конца, когда оно достигнет деревни. На самом деле, в отличие от него и от чайки, мне нравятся амплитуды, взлеты и падения, меня занимает то, как поднимаются и опускаются холмы и поля, сады и тополя, — говорит он, указывая на собаку перед воротами. Я смотрю на него в зеркало; смотрю на собаку в снегу.

— Как ты? — спрашивает Миле Пейкуре.

— Отлично, — отвечает пес Джуро Ваткина. — Просто чудесно, — добавляет он, уже принятый в дом Кромовых.

Джуро привез его из Чуйпетлово, чтобы тот гонял соек по деревне. И лаял на прохожих.

Миле Пейкуре поднимает руку, чтобы мы остановились. Он развязывает ремешок на сумке, вынимает куски хлеба с топленным салом и бросает псу.

— Мерси, — говорит тот, глотая их.

— При таком порядке вещей, — продолжил Миле Пейкуре, — выходит, что каждый из нас якобы был создан лишь для того, чтобы есть и благодаря еде прожить как можно дольше. Но жизнь — это больше, чем просто еда; жизнь — это нечто большее, чем жевание, — сказал он, пристально глядя в свое зеркальце. — Многие думают, что она — лишь время, и просто тянут его, пока оно не кончится. Жизнь — это движение. Вот я хочу знать, что я могу сделать с воздухом. Как сделать так, чтобы веки оставались неподвижными на высокой скорости; чтобы они моргали в такт мыслям до восьмидесяти километров в час, а потом полностью замирали, оставляли мозг в покое. Кстати, только так можно переходить из одного мира в другой; из мира скорби — в мир без скорби; из мира слез — в мир без слез, из мира боли — в мир без боли! Необходимо, чтобы в сегодняшних людях открылось совершенство; обнаружилось и осталось для других. Наш будущий мир зависит от того, чему мы научимся здесь. Если человек не научится ничему, дальнейшая его жизнь будет такой же, как сейчас здесь, а такая жизнь, то есть то, что принято называть жизнью, не стоит риска. Нужно

летать храбро, нужно парить с достоинством, нужно открыть сущность: добро, любовь; если мы завоюем пространство, останется время; если мы овладеем временем, не будет пространства! Мы будем свободны, сможем идти, куда захотим, быть теми, кто мы есть. Единственный истинный закон — это закон, ведущий к свободе; — убежденно говорит Миле Пейкуре, — другого закона нет.

Я слушаю, смотрю на него, улыбаюсь, и все во мне рыдает.

— И знаешь, — продолжает он, — не исключено, что глупо иметь и руки, и крылья. Либо руки, либо крылья! Это не значит, что надо либо летать, либо не летать; либо парить, либо не парить. Полет — это не вопрос силы и сопротивления. Полет — это вопрос ума и чувства. Путь — это воля; воля — это полет, — сказал он. — А теперь позволь мне выкурить сигару, — добавил он и щелкнул большим и указательным пальцем, чтобы прикурить. Первые клубы дыма Миле, похоже, выпустил через нос, а потом уже ничего не было видно из-за бьющего в глаза солнца; оно светило на стены, как будто пускало зеркалом солнечных зайчиков. — В конце концов, — сказал он, двигая сигару из одного угла рта в другой, — я хочу полетать основательно: спрятаться за вязами, за полиэтиленовыми пакетами, за каплями дождя, которые сияют в лунном свете; я хочу парить до рассвета, до первых лучей солнца, чтобы удивить тех, кто не верит, что можно парить, и, конечно же, попа Шако, чтобы тот перестал махать

кадилом, не умея объяснить чудо, которое он видит. Однажды он чуть не заметил меня, пролетающего поблизости от церкви, — сказал он, выплевывая невидимую сигару в снег. — В последний момент я удачно свернул и спрятался за колокольной, — добавил он. — Поп Шако снял камилавку, в недоумении перекрестился, глядя в небо, и вошел в церковь; в то время я уже был дома, в постели, под одеялом, теплый, как будто вообще не выходил из дома, как будто вообще не летал, — закончил он, подталкивая калитку правой ногой. Я перевез его через порог. Вот и всё.

(чтение — это работа)

Через некоторое время, а кто знает, как долго длится это время, которое растрачивается нами на невидимое, время, которое течет вокруг нас, Миле Пейкуре снова поставил коляску на колеса, и мы с ним каждый день отправлялись на берег озера в районе Шуман, представляя себе, куда ведет дорога, которая заканчивается здесь, и каких глубин она достигает, понятия не имея, что эта дорога уже не приведет никуда, и не ведая, что она никому и никогда больше не понадобится.

Запах воды смущает муравьев. Сверчок шутит с букашкой, которая тащит горошину в два раза больше себя.

Играя на своей губной гармошке, Миле Пейкуре держит рядом с ней стакан, чтобы звук был

громче, и с интересом осматривает все вокруг, пронзает взглядом свежий весенний воздух.

Мы долго сидели у озера, глядя на волны, огибающие травинки и камешки. И снова приехали на следующий день, чтобы не упустить момент, когда вода остановится перед мельницей Айтовых, где была привязана лодка Антона Печатника. Эту лодку привезли из города, законопатели еще до того, как сошел снег, выкрасили в белый цвет — ну, прямо лебедь, на боку розовой краской написали *Луна*, а потом на воловьей упряжке доставили до мельницы.

Вода выровняла долину под деревней, так что холм напротив был теперь совсем рядом отсюда, рукой достать. Попкорном белели разбросанные по склону кусты терновника. Прищулив глаза, я смотрел, как они покрывались белыми цветами.

Потом, когда поднимался ветер и тьма сочилась сквозь щели в окне, на улице начиналась метель, вместе с которой мы, лежа в своей кровати, полусонные, летали над деревней туда-сюда. Мы искали семейство, которое жило бы в благоденствии, как мы его себе представляли, искали дом или постройку, ну, пусть даже курятник, где было бы тепло и подомашнему уютно. Мама говорит, что мы зажимивали глаза, — это мы летали, — искали столько петухов и кур, сколько, как нам казалось, нужно для счастливой жизни, кружили над печными трубами, заглядывали в комнаты, во дворы, в курятники. Мы считали птиц, отождествляя их с людьми, а потом,

возвратившись из полета, устраивали игру — кто угадает, сколько их было, тот имеет право лететь дальше и войти в другой дом или приземлиться в нем на окно, чтобы посчитать членов семьи, при этом можно было превратить их в петухов, кур и цыплят. Пусть другие гадают, в какой дом рассказчик вошел и кого посчитал! И так, летая с закрытыми глазами, мы засыпали, не осознавая, что последний полет — это полет как раз над нашим домом, над нашей семьей с курицей, двумя петушками и цыпленком. Нас смущало то, что у нас не было петуха. Я называл это отсутствием, а другой, такой как Миле Пейкуре, мог бы назвать — измененным присутствием.

В природе, как это обычно бывает, в определенное время наступает весна, а в наши края она приходит стремительно, как ветер; на одном конце деревни он начинает дуть еще по-зимнему и заканчивает на другом конце уже по-летнему.

Улавливая запахи, бродящие по переулкам, а этой весной еще и исходящие от озера, многие начали готовиться к сосуществованию с ним: сельчане делали лодки из разломанных бочек, плели сети или припасали веревки, по которым собирались спускаться к берегу.

Мы из занавески, которую принес Миле Пейкуре, смастерили мешок для рыбы и испытали его в водовороте у тополей. Миле держал его в воде, а я переворачивал камни.

— Когда остановится вода, поднимающаяся к холму, рыба будет «нанизываться» на берег, как пе-

рец. Она сама будет забираться в мешок, — объяснил он. — Есть трава, которой приманивают рыбу. Надо, чтобы она доплыла до края пены, оказалась поближе к берегу, а когда она захочет вернуться обратно, путь ей преградит наша занавеска. Тут и делу конец!

Большая вода все еще была внизу, под мельницей, но когда она дотекла до садов, близость озера начала ощущаться в домах. Воздух стал влажным и тяжелым, так что Миле Пейкуре приходилось вытирать свой стакан перед каждым припевом. Хотя вода еще не заполнила долину под деревней, казалось, что озеро уже здесь, что волны бьются о плетни. Во дворе стало пахнуть чем-то, чего не было, или мы думали, что этого нет. На деревьях было полно птиц, которых вода выгнала из садов и виноградников, и теперь они собрались в деревне. Маленькими стаями они кружили над водой, плещущейся среди холмов, в поисках пропавших мест. Некоторые из них зависали в воздухе над водой, думая, что нашли свое гнездо.

— Даже когда чего-то уже нет, сознание продолжает думать, что оно есть. Мозг признает только идеальное состояние. Он работает по плану в голове, — повторяет Миле Пейкуре, и я верю, что это так. Если он может не признавать реальность как таковую, почему бы не попробовать и мне. Не замечать того, чего мне не хватает; я тоже могу летать, как он. Просто мне нужно убедиться, что это запрограммировано в моей голове, и понять, как это делать. Мне необходимо преодолеть страх перед

тем, чего у меня нет, страх от нехватки, сам не знаю чего, — говорю я себе.

Мы смотрели, как крестьяне, подойдя к берегу, стоят на дороге, перерезанной водой, и пытаются понять, где, на какой глубине, их сад.

Возвращаясь с озера, Миле Пейкуре пел песню о воде: *Где холодная вода, принеси воды сюда!* Вдруг он остановился, усмехаясь, и после этого, найдя мое отражение в левом зеркале, встал и попросил меня подойти к нему.

— Тебе я могу сказать, ты умный, не станешь смеяться. В последнее время я чувствую судороги в стопе, там болит и чешется; у меня такое чувство, что она все еще существует, — сказал он, поднимая левую ногу. — Многие люди воспринимают физическую реальность как целое, потому что в памяти есть копия того, чем мы были в нулевой точке, а в нулевой точке у нас у всех всё так, как должно быть, как было задумано, — сказал он.

На культю у него был надет вязаный носок.

Когда мы вышли на равнину, я увидел, что по деревне крадется тень, движущаяся по воздуху. Вдоль дороги она ломается, забираясь на стены и крыши. Мы сразу догадались, что Драган Галун начал цирковой сезон с прогулки по тросам канатной дороги, по которой вывозили бревна. В дубовой роще над верхней частью деревни в двух местах висели бревна, которые остались там после остановки канатной дороги. Когда их мотало ветром, они становились похожи на застывших в полете мезозойских животных. В какое-то время

дня тросы отбрасывали тени в виде бегущих по земле трещин. По этим-то тросам и ходил Драган Галун. Он начинал с вершины над кладбищем и доходил до холма, с которого канатная дорога спускалась в Мелци, прежде чем направиться в город.

Драган пугал рабочих, которые мостили дорогу на берегу озера, появляясь над ними, как доисторическая птица. Потом босиком бежал в деревню, бежал так, как будто под ногами был песок, а не гравий. Впрочем, все в деревне ходили босиком. Босиком играли в футбол. Никто не выбирал, куда ступить, не проверял, есть ли под ногой камень, терн или чертополох. Терновник с желтыми колючками впиался, как будто кусал изнутри, вгрызался в плоть. Мне часто приходилось на него наткаться.

Проблемой было найти место, где долго стоит тень. Мы побывали на каждом гумне в деревне, чтобы найти подходящий участок. Взрослые играли у явора и виноградника. Пустошь была примерно такой же, как игровое поле, но располагалась между двух водоемов, поэтому каждая половина поля опускалась к одним и другим воротам.

(вратарь из Эберсдорфа)

В то время, еще до того как озеро наполнилось до краев, Антим Бараба, который еще юношей уехал из деревни на заработки, привез футбольную форму

с налокотниками и вратарскими перчатками. И длинные трусы с вкладышами, чтобы защитить игрока, когда он бросается за мячом. В трусах Антим выглядел как Август Рицман, клоун из цирка Олимпия. Мы удивлялись: когда мяч летел прямо, он кидался за ним направо. Нередко он оказывался в колючках за воротами, прыгал к штанге, хотя мяч летел в метре или двух от нее. Он объяснял это тем, что именно так защищают ворота везде в мире; вратарю надо реагировать на каждый мяч. По его словам выходило, что благодаря именно такой тактике он продвигается в своей карьере. Он научился бросаться на мяч, согнув ноги, свернувшись, как сом на сковороде.

Зрители, чтобы следить за происходящим, перебегали от одних ворот к другим. Как я уже сказал, футбольное поле состояло из двух частей с возвышением посередине, так что от одних ворот было видно одну, а от других — вторую половину поля. Вратари с обеих сторон видели со своего места только верхнюю перекладину чужих ворот, без стоек, а мяч, катящийся по земле, был виден им лишь до середины поля. О том, что происходило с ним за переломом, можно было только догадываться.

Антим Бараба, вратарь из Эберсдорфа, два месяца прыгал в колючки, а потом ушел, забрав с собой форму с защитой, трусы с подушечками и перчатки, которые натягивались почти до локтей. Из-за отсутствия снаряжения любой, кто пытался кидаться на мяч, как он, делал это только один раз. Кроме Кочо

Музрака. Тот часами проводил время по пустошам, подражая Антиму. Драган Галун заставлял его тренироваться на поле — подбрасывал в воздух комья земли, которые Кочо должен был ловить.

Надо сказать, что, хотя Кочо Музрак возвращался домой с разбитыми локтями и коленями, голкипером, стражем ворот, он не стал; а стал сторожем на плотине. Так что другого такого вратаря, как Антим Бараба, у нас так и не появилось. Никто не хотел бросаться в колючки без перчаток. Хотя окуней ловили голыми руками. Я, правда, никогда не осмеливался сунуть руку под камень, чтобы ухватить рыбину, как другие. Я только помогал — ходил с ивовым прутом, собирал и нанизывал на него тех рыбин, которых другие, поймав, выбрасывали на берег. Рыбу мы делили поровну, неважно, ловил ли ты ее в реке или собирал на траве. Такой существовал порядок.

Было уважение друг к другу. Или кажется, что было, глядя отсюда, из другого века. Никто не осмеливался разозлить соседа, собрать, скажем, перец на его поле. Когда люди встречались в деревне или за ее пределами, то останавливались, чтобы поприветствовать друг друга. На свадьбу звали всех. И на свадьбу Дуле Пацова пришла вся деревня. Дети с нетерпением ждали, когда черед дойдет до них — их позовут за стол тогда, когда он освободится после взрослых. Едой пахло аж до реки, и тарелки парили в руках женщин, спускающихся по лестнице во двор с полными и возвращающихся на кухню с пустыми.

А о стены сарая, где все это готовилось, уже бились волны озера, и вода обнимала фиалки, ромашку и дикую мяту.

(всемирная история — ручная работа)

Когда озеро ударилось о стену мельницы, оставшейся на суше, Антон Печатник спустил лодку в воду и на веслах поплыл к другому берегу и обратно. Через несколько дней он привез лодочный мотор с винтом и с ним в одно мгновение вышел из бухты, скрывшись за горной грядой, спускавшейся к озеру. Мы думали, что он вернется тем же путем, а он возвратился с другой стороны бухты, разрезая воду носом катера. Хотя нам очень хотелось узнать, как выглядит озеро с другой стороны плотины и можно ли узнать наши холмы, погружившиеся в воду, никто не осмеливался сесть в лодку. Мы молча стояли на берегу и смотрели, как Антон Печатник катается по заливу.

Тогда ремонтировали дорогу в город, поэтому в деревню на машине проехать было нельзя. Через несколько дней, прибежав после уроков с сумками на мельницу, мы увидели, как Мирна залезает в лодку, садится у мотора, и они отправляются к плотине. Глядя на раскрывшийся за ними веер волн, Драган Галун сказал, что они оставляют свой «фиат» на плотине, а от плотины до города идет асфальтированная дорога.

— Что такое асфальт? — подумал я.

— Дорогу заливают черной смолой, чтобы не было грязи, — сказал Миле Пейкуре, будто прочитав вопрос, застывший у меня в глазах. Мы смотрели на лодку, пока она не затерялась вдалеке.

Раз учительница не боится плыть с ним, садится в лодку, не моргнув и глазом, чего страшиться нам, — подумали мы, но никто добровольно плыть так и не решился, хотя Антон гарантировал, что нет никакого риска, нет и причин для страха. Кроме того, он всегда возит с собой в лодке покрышку, а с ней никто не потонет.

Через несколько дней осмелился Миле Пейкуре.

— Мне терять нечего, — сказал он и, опираясь на меня, залез в лодку. Схватил Антона Печатника за руку и огляделся. Смотрел и молчал. Потом, опираясь коленом на скамью, стал раскачивать лодку, улыбнулся и захлопал в ладоши.

— Ее сделал хороший мастер, — сказал он. — С добрыми, умными руками, — добавил он, лаская лодку, словно живую. — В мире не было бы ничего без умелых рук; ни хлеба, ни дома. История мира сделана руками, — закончил он и сел на носу лодки.

Я ждал их на мельнице, но время шло, а они всё не возвращались. Их не было ни видно, ни слышно.

Я в панике побежал к обрыву холма, но лодки нигде не было. Обеспокоенный, я вернулся к мельнице, затолкал туда коляску Миле и направился в деревню.

Как только я вышел на ровное место за каналом, у входа в бухту показалась лодка; она плыла медленно, рыская носом в воде. Я сбежал вниз по склону так быстро, как только мог, по косой спускаясь к берегу, и тут увидел, что Антон Печатник гребет, а Миле Пейкуре сидит у мотора. Когда лодка ударилась о берег, Антон привязал ее к опоре ворот и сообщил, что у него кончилось топливо, а канистру с бензином он взять забыл.

По дороге Миле Пейкуре сказал, что на озере есть деревья, которые торчат из воды; их не успели срубить до того, как долина заполнилась водой.

Позже, через несколько дней, переборола свой страх Меглена, и я переборол тоже, хотя сверчок постоянно прыгал у меня в горле.

Плывя вдоль берега, Антон Печатник старался избегать верхушек деревьев, поворачивая ручку мотора влево или вправо. Большие рыбы останавливались перед кронами, преграждавшими им путь, и мы разглядывали их с лодки. Их пугали стволы, колыхавшиеся в воде, ветки, дрожавшие из-за течения. Открывая от волнения рты, рыбы пускали пузыри, лопавшиеся на поверхности воды, как будто не могли поверить, что то, что они видят, было не тенью, а настоящим деревом, растущим под водой. Иногда они на мгновение останавливались перед ветками, касались цветка кончиком рта и, взмахивая хвостами, плыли к выходу из залива и обратно, словно танцуя под журчание деревянной речки, которая именно в этом месте впа-

дала в озеро. На мелководье остались виноградники со столбами и проволокой; у людей не было времени выкопать их и перевезти в другое место.

Прогулки заканчивались, когда мы, привязав лодку к стойке ворот, шли в деревню и по дороге встречали Мирну, которая направлялась на мельницу. Мы смотрели с холма, как Антон и Мирна в лодке скользят по воде, пока они не исчезали в мерцающем воздухе мечты.

Со временем жители деревни поняли, что у Антона Печатника хорошая лодка, которая рассекает воду, как выдра. Они начали делать лодки из листового железа и плавали на них по озеру, представляя себе свои сады, оказавшиеся на дне. Они протягивали сети от берега до торчащих из воды веток и ловили рыбу с серебряной чешуей. Теперь вместо жмыха и навоза в деревне стало пахнуть сетями, сушащимися во дворах. И Атанас Почтальон говорил, что еще издалека начинает пахнуть рыбой. Он, минуя холмы, приходил к нам раз в неделю. Только закончив разносить почту, Атанас сразу забрасывал сумку за спину и, засучив штаны выше лодыжек, пропадал, скрываясь за трансформаторной подстанцией. Через несколько минут мы видели, как он, дойдя до другого конца села, ползет вверх по склону, напоминая грязное пятнышко на небе. И потом мы ждали, когда он опять придет в деревню, ждали звука его рожка с таким нетерпением, как если бы мы ждали чего-то, что спасло бы нас от жары.

— Не ждите. Что-то случилось, — сказал Миле Пейкуре, сидя в тени бревен, висящих в воздухе.

Через несколько недель рожок все-таки затрубил, но звук был другой, не такой, как у Атанаса. Пришел толстяк с мокрыми подмышками и желтыми усами; рубашка у него на животе еле сходилась; шляпа елозила по голове. Он снял ее, опустил голову и громко выдохнул: Повесился. Да, повесился, — сказал он, поднимая ногу, чтобы переступить через ограду. — Я временно его заменяю, пока на его место не примут другого, — добавил он, а мы уже шмыгали носом, обнюхивая его сумку. Он открыл ее, сунул в нее руку и вынул почтовое отправление. Было только одно письмо, один синий конверт. Я узнал почерк.

— Это он, — подумал я. — Только он так соединяет буквы, будто переплетая их.

Я взял конверт, вскрыл его, развернул, и все увидели, что он пуст.

— Может быть, он забыл вложить письмо, — сказал я себе. — Или просто у него не было никакого письма...

На конверте, на внутренней стороне клапана, были три черточки и три точки.

— Жизнь можно описать и так, но тюрьма — это не жизнь, — сказал Миле Пейкуре, чистя губную гармошку.

Через несколько дней мой отец приехал навестить нас, его отпустили из тюрьмы на выходные. Это был совершенно другой человек, плешистый, с глубо-

кими морщинами и в очках. Он молчал и курил. Позже, когда он отсидел свой срок, он вернулся в ту же компанию в городе, где когда-то работал, и стал снова ездить по горам на грузовике, чадившем, как паровоз. В деревню он заезжал раз в несколько месяцев. Затем он начал делать сети для жителей деревни, и они постепенно приучились ловить рыбу. Мне он привез игрушечную гондолу с одним гребцом и лампочками на крыше. И часы, которые вертелись, как подсолнух. Именно эти часы мы носили с собой, чтобы узнать, сколько времени нужно Антону Печатнику, чтобы отплыть от мельницы, добраться до того места, куда он собирался доплыть, и вернуться назад. Он плавал и на спине, и на груди. Мои часы до секунды мерили время, которое ему требовалось, чтобы переплыть залив или добраться до плотины, свернуть к затопленной церкви на другом конце озера и возвратиться. Мы ждали его на мельнице: Миле Пейкуре, Драган Галун, Коле Долин, Меглена, мои часы и я.

Через несколько часов, а мы знали и минуты, и даже секунды, Антон Печатник возвращался в залив, выходил из воды и снова прыгал с берега, как будто до этого и не плавал. Он нырял, доплывая под водой до середины бухты, а потом возвращался назад. Стаи крупных рыб, поблескивая в воде, чинно проплывали под ним и, сделав безупречный полукруг, терялись в глубине, которая достигала здесь нескольких метров. Озеро, как говорила Мирна, ширилось до деревни, жителей которой переселили в город;

береговая линия проходила выше, чем последний дом на холме. Вода там почти затопила церковь, и в бинокль Антона мы видели крест колокольни, который захлестывали волны озера.

(записано по сказанному)

В эту деревню, спасаясь от албанцев-балистов¹, приехали дедушка Георгий и бабушка Тодора с маленькой девочкой на руках. Спустя двадцать лет малышка стала мамой. Фамилия деда — Шукреский, а бабушки — Трайческая. Самый старый предок Шукреских — Лазор. Так было написано в книге, которую я купил в церкви Преображения Господня, единственной церкви в мире, в которую не разрешалось входить женщинам. У Лазора были дети — Угрин, Георгий и Книгана. Георгий женился на Тодоре. Через девять месяцев, как положено, она родила. Балисты сожгли их деревню, и семья уехала сюда, в то место, которое сейчас затоплено. И всё. Других сведений в книге нет. Нет про сына Ивана, про дочерей — Танку и Бибу. Нет, понятно, и про меня.

¹ **балист** — сторонник Бали Комбетар, созданной в 1939 году албанской нацистской и антикоммунистической организации. Ее политическая программа предусматривала создание Великой Албании, включающей Косово, части Черногории, Македонии и Греции.

— Раз уж речь зашла о наших предках, — влезает откуда-то со стороны Миле Пейкуре, — то я знаю только отца, Симона, и мою мать, — говорит он. — Никого больше. Ни влево, ни вправо; ни вперед, ни назад. Но даже если бы сейчас ты бы и знал, что кто-то из твоих близких жив, то у них, твоих родственников в четвертом поколении, кровь была бы не такая, как в первых трех, — говорит он. — После третьего от тебя поколения уже не имеет значения, знаешь ты кого-то из своих предков или нет. Не забивай себе голову такими вещами, — говорит он. — Это всё чепуха на постном масле! Кто знает, как выглядел некто из седьмого поколения? А что было потом? Кто унаследовал его уши, кто нос, кто глаза? Что от него осталось? А кто мы ему из такой дали? Песчинка в глазу. Пятнышко в космосе. При свете мы ему покажемся пылинкой. А без света он проглотит нас и не заметит, как будто мы и не существуем. Отец, дед, прадед! И у него был отец, и у его отца был отец, понимаешь, и так далее. Как зовут отца прадеда! Из какой он семьи? Первый — отец, перед ним дед, прадед и прапрадед, и так далее... А кто такой прапращур? Если несколько раз сказать пра, может остаться лишь прах, — говорит он, развалившись на стуле, как архиерей за трапезой. — Но род развивается не только по мужской линии. Кто-то должен был всех рожать, поколение за поколением. Мать, бабушка, прабабушка и далее... Я продолжаю размышлять.

— Я нашел Лазора. Моего прадеда. В книге. А дальше назад, вглубь веков, никого. У него были

Угрин, Георгий и Книгана. Георгий женился на Тодоре. Через девять месяцев, как положено, она стала матерью. В книге есть фотография семьи Угрина Шукреского; он похож на дедушку, как брат-близнец. У дедушки были такие же морщины под носом и кепка с козырьком, как у его брата, стоящего у стены, которую завесили разноцветной тканью, чтобы фотография вышла покрасивее. Я смотрю на него, стоящего перед завесой, и ищу деда в том, что не существует, или я думаю, что не существует: Угрин сидит нога на ногу; дед же никогда так не сидел. Его брат переехал в городок на реке, вытекающей из озера. О его сестре Книгане ничего не известно. Что с ней случилось, можно только предположить. Спасаясь от балистов, она оказалась в Брассак-ле-Мине, расположенном недалеко от города, где стоит памятник полководцу с надписью: Я взял оружие, чтобы все были свободны.

— Да, всё так, ответ правильный, — говорю я и улыбаюсь, будто меня собираются фотографировать. — В этой стране живут ее дети Данка, Нада, Бошко, Раде и Тане. Когда я впервые увидел их во время моего пребывания в Шато де Гордон в провинции Кот дю Рон, только Данка говорила так, как научилась от своей матери Книганы — как та говорила в деревне перед тем, как сбежать со своим женихом.

Я продолжаю в том же темпе, не глядя на поля.

Бабушка Тодора из той же деревни; у Арсе и Велики были дети Андреа и Панде, который умер

во время Илинденского восстания, бабушка Тодора, которая вышла замуж за дедушку Георгия, и Стойка, которая вышла за Негри Негриоского. Бабушкин брат, Андреа Трайчески, женился на Любинке, и у них были дети: Боца, Коле, Крсте, Ристана, Дуке, Раде, Тала, Гюрга и Иван. И всё. На этом запись кончается.

В деревне был водопровод, три церкви и два монастыря, здание школы и красивые дома. И обычай, другого такого не найти нигде в мире — если кто-то в семье умирает внезапно или в результате несчастного случая, мать должна водить с родственниками хоровод вокруг мертвого тела, чтобы подобное не повторилось.

Когда дедушка Георгий и бабушка Тодора были в эти края, церковь в деревне на другом конце поля была уже расписана изографом Ираче из деревни Гари. У него не было пальцев на руках, но даже без пальцев, благодаря своим помощникам, ему удалось нарисовать фрески так, как надо, и жители заплатили ему рожью.

— Ладно, давай короче, это тебе не Виндзоры или Сассексы, — сказала муха, севшая на написанное. И я стараюсь короче:

— В зарослях можжевельника над церковью дедушка своими руками построил дом, а потом, еще до того, как озеро начало заполняться, купил в городе сарай, отремонтировал, сделал пригодным для жилья и перевез туда семью. Мама уже была замужем

за моим отцом; свадьбу запомнили по стрельбе по барабанам; деревенские парни не отпускали ее в деревню моего отца, в нашу деревню; не обошлось бы без жертв, если бы не вмешался священник Шако с кадиллом. И наганом, конечно. Мама говорила это несколько раз, и всегда посмеивалась, хотя и признавалась, что тогда очень испугалась, и что она не знала, что ее так сильно любит парень, который стрелял с колокольни церкви, той самой церкви, которую теперь затопило по крышу. Из-за волн кажется, что крест плывет по воде.

(зачеркнуто, исправлено, добавлено)

В этой части воспоминаний, то есть того, чего не существует, или о чем многие думают, что оно не существует, мы подплываем к церкви на лодке Антона Печатника. Крыша остается под нами, как будто мы летим над ней на дирижабле, и я снова вспоминаю фрески Ираче из Гари и стрельбу с колокольни. Внезапно крест тенью задрожал на волнах. Хорошо, что с нами был поп Шако, и я мог попросить его, чтобы он по крайней мере помолился за то, что осталось под водой. И за то, что видно, и за то, чего не видно.

На склоне за церковью, от мелководья до глубины, бормочет кладбище. Рыбы крутятся вокруг каменных крестов, задевают хвостами надгробия и теряются в глубине. Направляя лодку к устью

Блашницы, Антон Печатник старается не задевать торчащие из воды верхушки деревьев, а поп Шако смотрит куда-то вдаль, вспоминая то время, когда он был в монастыре.

Ворон, сидящий на ветке маслины, спрашивает:

— В чем дело, что случилось? Где же земля?

— Потоп, — отвечает Миле Пейкуре и, отодвинув култей надутую резиновую камеру, перемещается в коляске поближе к носу лодки.

Склоны над водой привыкали к озеру, понимая, что никогда уже не услышат журчание реки. Антон Печатник тщательно обходил ползучий ломонос, свисавший с деревьев на берегу, а поп Шако в испуге крестился, глядя на фреску на скале. Перед нами, прямо над водой, висели тросы канатной дороги для перевозки бревен. Они спускались с горы, а на другой стороне карабкались к каменоломне, к ноге героя, о котором знали только мы с Миле Пейкуре. Я сразу понял, что это за место, и он кивнул мне, глядя на гребень горы.

— Эй, нахалы, как вы можете плыть по озеру, которое само еще не знает, что оно озеро, — сказал тис, склонившийся над водой с берега.

Мы прошли между двумя холмами, которые теперь превратились в полуострова, и проскользнули под переплетенными ветвями деревьев, там, где озеро входило в расщелину.

Когда мы доплыли до залива с кельями в скалах, поп Шако стал вертеться, как будто не верил, что мы наконец-то добрались до монастыря. Антон

Печатник привязал лодку перед воротами, и мы, друг за другом, прыгнули на берег. Вытащили Миле Пейкуре вместе с коляской. Поп Шако сразу стал ходить туда-сюда и что-то искать.

— Раньше мы карабкались по горам к монастырю часа два; а теперь приплыли на лодке прямо к воротам, — сказал он, стоя в середине двора. — Видите это дерево? Дерево вечнозеленое, называется голый человек. Меняет кору два раза в год. Если к нему прикоснешься, никогда не подумаешь, что дотронулся до дерева. Кора мягкая, как кожа. Тридцать лет назад оно было вот такое — как травинка. Едва возвышалось над землей, — сказал он, поглаживая ствол.

Мальчиком он был по обету отдан для служения в монастырь. И служил почти столько, сколько было обещано. В монастырской гостинице укрывались партизаны, и в конце третьего года пребывания в монастыре он ушел с ними; после войны работал регистратором, а потом стал священником.

— То, что я хотел показать вам, находится не здесь, а внутри, — сказал он, открывая дверь. В церкви было темно и холодно. Голубоватый свет проникал через каменные решетки, освещая пол и фрески на противоположной стене. — Когда я был в монастыре, здесь было пятьдесят вьюков книг. Большинство старинные, с орлами. Самое ценное хранилось в крипте под алтарем. В одной из них, на листе под обложкой, было написано на глаголице, я знаю глаголицу, что монаха по имени Леонардо да

Пистойя отправили в эти края, полные тайн, искать древние рукописи о жизни и смерти. Герцог Козимо Медичи был убежден, что такие книги еще можно найти. Он приказал ему добыть их — украсть или купить, как угодно. И наконец, через несколько лет, после того, как он дважды возвращался на родину с пустыми руками, Леонардо повезло. От счастья он пылал, как свеча. Летом 1460 года он въехал на своем осле во Флоренцию с древними книгами. А десять лет спустя Марсилио Фичино, самый образованный человек города, сделал из них выписки и опубликовал под своим именем. Там говорится, что книги с тайными учениями, взятые из этого монастыря, являются основой мира, с них началось Возрождение. Вот так. Было здесь и кресло настоятеля — древнее, трехсотлетней давности. На спинке было написано: «Знайте, что в 1646 году это кресло при игумене Агапии сделал мастер Коро из Тиквеша». И этого города, города Коро, уже давно не существует. А гора, вот, теперь превратилась в остров, самый большой остров в озере, — сказал поп. — Но мы прибыли сюда не ради этого, — добавил он, повернувшись к фрескам, освещенным закатом, и продолжил. — Церковь была написана шестьсот лет назад. Фреска в центре написана между 1376 и 1380 годами. На фреске изображены Иосиф и Мария. Смотрите! В левой руке у Иосифа посох, а указательным пальцем правой руки он указывает на Марию. И явно угрожает ей. Та отрицает, что была ему неверна, и в свою защиту поднимает обе

руки с раскрытыми ладонями, — сказал поп Шако, а муха слетела с алтаря и села на лоб Марии. — Фреска была скрыта под штукатуркой, — продолжил он. — Незадолго до моего отъезда из монастыря ее обнаружил монах, работавший над фресками. Нигде в мире нет такой тревожной фрески, — воскликнул он, перекрестился и поспешно вышел из церкви. — Я хотел, чтобы вы это увидели, — добавил он. — И не только увидели, но и осознали, что ничто не забывается, ничто не исчезает навсегда, — закончил он, залезая в лодку.

Мы молча миновали скалы с кельями отшельников, перерезанную водой лесную дорогу и белоголового орла, сидящего на канатной дороге, а потом, когда вышли на открытое место и показались развалины родного города мастера Коро, Миле Пейкуре первым нарушил молчание.

— Существует много слов, придуманных, чтобы объяснить то, что мы знаем, и только два, чтобы признаться, что мы не знаем, — в задумчивости произнес он.

— Какие же это слова? — поспешил спросить поп Шако.

— Не знаю, — ответил Миле Пейкуре. Он вдруг захлопал в ладоши и запел: *Не боюсь я, друзья, вся дружина моя, ни жандармов, ни вражьих солдат, а боюсь я, друзья, вся дружина моя, тех ребят, что со мной вместе пьют и едят.* Он пел

без остановки до самой мельницы. Никто ему не мешал. Потом он немного поиграл на губной гармошке. Опять же, никто ему не мешал.

(чтение — утомительное занятие)

Когда Антон Печатник и священник Шако ушли в деревню, мы сели на ограду и стали шлепать ногами по воде.

— Знаешь, не удивляйся, вода холодит мне обе ступни. Щекочет между пальцами. Гладит, массирует. И не только пальцы ног, но и пятки. И ахиллесову, и другую. Воде все равно. Но есть проблема. Какая пятка мое слабое место — левая или правая? О какой идет речь? Если о левой, то мое слабое место находится у меня в голове; если о правой, то мое слабое место у меня в яйцах, — сказал он, перебирая ногами, будто шагая по воде.

Он и раньше говорил, что чувствует ступню левой ноги, а теперь вот чувствует не только ее, но и воду. Он сказал, что она теплая, намного теплее, чем в реке, и какая-то более нежная, мягкая.

Вода в этом озере — это вода, про которую в учебниках не написано, что она содержит то, чего не существует, что она полна плачей, языческих танцев, свадебных песен, голосов виноградарей и овцеводов, — сказал Миле Пейкуре, глядя на то место, где у человека должна быть ступня.

Он подробно, до мелочей, описал все, что чувствовал; сказал, что болтает в воде большим пальцем, что вода кружит у него вокруг лодыжки, поднимается по ноге, щекочет волосы и доходит до колен, гладит впадинку сзади, потом возвращается назад, опускается до кончиков пальцев ног и уходит, как волна, которая выплеснулась на берег и потерялась в бесконечности.

Потом мы слушали бульканье рыб, играющих в заливе.

Вдруг прибежал, весь запыхавшийся, Драган Галун с известием, что приехал джип кинотеатра «Балкан».

Когда привозили кино, в деревне наступал праздник. Почти за час до начала мы уже выстраивались в очередь перед Домом, неся с собой под мышками скамейки, подушки и стулья. Войдя, те, у кого были низкие стулья, садились впереди, а остальные выстраивали свои согласно высоте вплоть до двери, а часто даже за дверью, на крыльце. Оттуда был виден только кусок стены с картинками, но и этого было достаточно, чтобы понять смысл.

Привезенные фильмы чаще всего были старыми, пленка была исцарапанной, с дырками и прогарами. Время от времени в мерцающем свете мелькали мухи. Устав от просмотра, особенно если показывали мультфильм, мы молча расходились, а стулья долго стучали по заборам, воротам и переулкам. На самом деле мы нехотя возвращались в реальность, а затем,

изо всех сил пытаюсь заснуть, смотрели в темноту, ища героев на стенах.

Миле Пейкуре обожал мультфильмы, а мне нравились фильмы Серджио Леоне; я знал практически все реплики из фильма «Хороший, плохой, злой». Например, «Вы мне совсем не кажетесь привлекательным» или «Видишь ли, мой друг, все люди делятся на два сорта: на тех, у кого револьвер заряжен, и тех, кто копают».

Однажды во время просмотра порвалась пленка, и киномеханик вместо фильма прокрутил нам несколько серий из сериала «Линия». Миле Пейкуре так радовался, как будто видел их в первый раз, а меня охватило какое-то жуткое чувство. Возможно, из-за голоса героя, непонятного и панического. Впрочем, все фильмы, которые мы смотрели, были сильно похожи на этот мультик — такие же смурные, и поэтому теперь, после сообщения Драгана о приезде киномеханика, продолжая плескаться ногами в озере, я ощутил некую тревогу — мне померещилась невидимая рука, которая дорисовывает то, чего нет в действительности. Как в «Линии», когда человечек получается из линии и исчезает в ней. Глядя на воду, я вспомнил, что перед тем как мы посмотрели «Линию», Миле Пейкуре рассказывал про разные чудеса, и что-то из этого осело в моей голове. Он говорил, что на кладбище похоронены семнадцать голов партизан, что по ночам они выходят из-под земли, летают, светясь, как лампы, по улицам, а затем выстраиваются

в очередь у колодца Кромовых и пьют воду из цветков чабера. Или про красавицу Ангелину, которая не хотела выходить замуж ни за кого из парней в деревне, а только за однорукого учителя Каранджулова. Иногда, по особым случаям, Миле упоминал, что, летая над домами, видел, как поп Шако подглядывал в комнату, где спала невеста Трбогазовых, та, которую Татомир Трбогазов привез издалека, из города на реке Лепеница, где продавал виноград. Эта женщина ходила по деревне в платье, похожем на ночную рубашку, тогда была такая мода. И в киножурналах, которые показывали в кинотеатре «Балкан», появлялись девушки в платьях без рукавов, не до конца прикрывающих зад. Когда она нагибалась у колодца, крапиво обжигала нас до горла, но мы терпели, потому что там видели то, что невозможно было увидеть в другом месте. Иногда мы подсматривали за Дукадинкой Таталовой, когда она залезала на шелковицу у церкви, но ее ляжки не сверкали так, как у Маргаритки. Она взбаламутила всю деревню, как никто раньше. Не только попа Шако.

— На рассвете, — рассказывал мне Миле Пейкуре, — летая просто так, тихо и расслабленно, вижу и других, подсматривающих под окнами. Смотрят, как молодухи сцеживают молоко из груди в миску, — добавляет он. — Да, с интересом подглядывают. Так что неудивительно, что сельчане уже какой день судачат про Татомира — как это он, такой мелкий да неловкий, сумел так преуспеть в любовных делах.

Но вернемся к мельнице. Я продолжу с того места, где остановился: мы с Миле Пейкуре беззаботно сидим себе на берегу озера, болтая ногами в воде. Миле Пейкуре говорит, что чувствует ступню левой ноги, и чувствует не только ее, но чувствует и воду. Говорит, что она теплая, намного теплее, чем вода в реке, и что она как-то легче, ласковее.

Он соединяет ладони кончиками пальцев, домиком, прикладывает их под носом и блюмкает: блюм-блюм, блюм-блюм... имитируя волны, бьющиеся о стену. В тот момент Драган Галун исчезает — он ушел, как и пришел, незаметно. Мы видим его в виде облака мух над каналом.

Перед нами невидимая рука дорисовывает горизонт над деревней. И дальше мы слушаем бульканье рыб, разыгравшихся в заливе.

(тыквы и бетономешалки)

— Во вторник я видел, как Стамат Дракон выпал из сортира на втором этаже, — сказал Миле Пейкуре. — Свалился, как клоун с ходулей. Как клоун, зацепившийся за что-то во время трюка. Стамат как безумный вскочил на ноги, натянул брюки, застегнул ремень и остановился в недоумении, не зная, что делать. Потом, после первоначального замешательства, он стал поднимать будку, как будто поднимал человека, прислонил ее к балкону и только после этого

заохал. Он, конечно, думал, что никто его не видел и никто про этот случай не узнает, — закончил Миле рассказ, когда мы выехали на ровное место у канала.

Часть времени, нами прожитая, осталась позади; часть бежала перед нами.

— Где теперь искать Дракона, — подумал я, — впереди или позади? В общем, он был старым холостяком. Дважды в неделю ездил в город читать в библиотеке газеты, чтобы рассказывать то, чего никто из сельчан не знал. Желание приносить людям вести было у него в крови, жило в нем, и он не мог с этим справиться. Веками его предки были вестниками и глашатаями. Стамат, скажу я вам, был, как ветер, то и дело меняющий направление. Когда все думали, что он едет в город, он уже возвращался в деревню. Он спешил в библиотеку, читал там газеты; самое важное, по его разумению, запоминал. И еще быстрее возвращался домой, потому что, когда он шел назад к деревне, не нужно было идти в гору. До наступления темноты пересказывал интересующимся то, что сумел сохранить в голове, поэтому можно сказать, что о мире, со всеми его плюсами и минусами, мы узнавали благодаря Стамату Дракону. Иногда, когда он увлеченно и красочно рассказывал о произошедших извержениях вулканов, о которых мы и понятия не имели, нам казалось, что из него вылетали магма и пламя. От выпускаемых им газов с запахом вареного яйца убегали муравьи. Я считал, что его прозвище ему дали не зря.

В хорошую погоду Стамат Дракон ходил в город по два раза в неделю, а когда погода портилась — то один раз, но оставался там вдвое дольше, чтобы прочитать все предыдущие номера и запомнить больше обычного. Тогда случалось, что мы по несколько часов слушали от него новости, которые он изменял по мере необходимости. А иногда, если кто-нибудь что-нибудь переспрашивал, Стамат сбивался, и тогда цены на огурцы смешивались с ценами на тыквы, а цены на мушмулу с ценами на грушу-скороспелку. Бывали случаи, что крестьяне спешно собирали груши, думая, что цена на них высокая, а на самом деле цена относилась к инжиру; или оставляли яблоки лежать еще неделю в погребе, ожидая, что цена вырастет, хотя цена уже была самой высокой, просто Стамат спутал яблоки со сливами. Когда крестьяне ему за это пеняли, сетуя, что так дела не делают, он всегда отвечал: «Что у меня в голове есть, то и говорю!» Все понимали, что никто другой бегать за новостями в город никогда бы не стал.

Посетив библиотеку, Стамат Дракон уверял народ, что главная река станет судоходной на протяжении ста двадцати восьми километров, а пристани сделают в столице рядом с источником минеральных вод, в городе корабельщиков, в деревне, где расходятся поезда, еще в месте, где находится самая большая излучина русла реки, потом еще там, где воздвигнут памятник героям Великой войны, а еще на последнем повороте шоссе перед полем у озера. Или мог

сообщить, что в водохранилище выпускают мальков с нашей стороны, а жители Канджали, Сурлево, Патароса и Бреста каждый день ловят в нем рыбу, хотя сами мальков не выпускают. Через несколько дней после пересказа газетного репортажа про рыбу он принес нам новость о том, что человека из наших краев — учителя и борца за независимость — избрали спикером парламента, а еще известил о том, что в будущем лампочки не будут моргать, как поп Шако на причастии, потому что плотина «Глобочица» заработала в полную силу и недостатка электричества больше нет. Однажды, в результате одного из своих походов до города и обратно, Стамат Дракон принес нам новость о том, что появилась великая, историческая новинка — бетономешалка! Машина заменит четырех рабочих. При этом он сказал: «Вы понимаете или нет, три кубометра бетона четверо рабочих смешивают за четыре часа, а мешалка сделает то же самое за один час, и нужен только один рабочий, который будет засыпать в нее песок и цемент, а еще заливать воду. Кроме того, машина будет перемешивать бетон намного лучше, чем рабочие — вялые работяги, которые только и умеют, что перебрасывать раствор туда-сюда, а потом наоборот. Плюс никто не будет потеть от тяжелой работы, и никому не нужно будет делать перекур... Может быть, не сразу, но вскоре после новости о бетономешалке, он принес весть о модной теперь прическе «унисекс», одинаковой и для мужчин, и для женщин. Миле Пейкуре сказал, что такого

никогда не будет, потому что у женщин, кроме сисек, есть еще и волосы, по большей части — длинные волосы. Но тут Стамат Дракон вспомнил, как читал, что где-то проводился конкурс причесок, которые не различались по полу. Как только мужчины позволят своим волосам отрасти, а это лишь вопрос времени, они начнут ходить в женскую, а не мужскую парикмахерскую, — сказал он. — Скоро мы все будем делать завивку, и сверху, и снизу, такая уж нынче мода. Снизу у всех уже завито, — вставил свой короткий комментарий Миле Пейкуре, но Стамат Дракон пропустил это мимо ушей — когда он рассказывает, то никого не слушает. Он продолжает говорить: Никто в мире уже не стрижет так, как стрижет нас овечьими ножницами Дуле Пецов.

Тем временем, пока мы думали, как будем выглядеть с зачесанными назад тыквами, а думали мы об этом целых три дня, Стамат Дракон успел несколько раз сбегать в город. И каждый раз он возвращался с ворохом новостей.

Одной из самых удивительных было то, что в городе изобрели шкаф, который с помощью мотора на потолке ездит вверх-вниз, так что теперь можно жить хоть на тополе, подняться можно куда угодно, глазом не моргнув. Входишь в шкаф, нажимаешь на что-то там внутри, колесо начинает крутиться, и человек оказывается в нужном месте, даже не подняв задницы. Что касается задницы, то пока что людям она по-прежнему будет нужна, а вот ноги

им больше не понадобятся, и незачем даже учиться ходить, за них будет ходить кто-нибудь другой.

Стамат сказал, что в страну каждый день прибывают разные машины, которые заполнили все улицы так, что не проедешь. Например, если хотите знать, привезли импортные легковые автомобили, такие как «трабант 601», лимузин, экономичный автомобиль большой мощности, быстрый, как стрела, и «вартбург 1000», тоже лимузин, автомобиль, обеспечивающий комфорт, экономичность и безопасность вождения. По сравнению с ними «фиат» — это консервная банка, потому что «трабант» делают из пластмассы. Плюс на финальном этапе, когда его век закончится, «трабант» можно будет съесть; и коза, которая его съест, будет давать молока, как корова; эта пластмасса обладает невиданными молочными качествами. Кроме того, он сообщил, что винодельческий комбинат в городе выводит на рынок новые продукты — желтую ракию, какую не производил еще никто в мире, и коньяк «Македо» в бутылке с металлической крышкой. Параллельно, поскольку этот коньяк необходимо запивать, чтобы выжить, на рынке появится минеральная вода под названием «Пелистерка», но и пива будет в изобилии, поскольку пивоварню в столице реконструируют. Производство в настоящее время не может удовлетворить потребности рынка, — говорит он, почесывая вспотевший лоб. Новости, которые он носил в голове, как носят стеклянные шарики в карманах, были разные. Ино-

гда — из черной хроники, например, что некая Стоянка Цветановская погибла, возвращаясь с мельницы компании «Жито юг». Пытаясь остановить мула, испугавшегося лягушки, она упала, и ее переехала телега. Раздумывая о том, какая же это была лягушка, мы одновременно старались осмыслить информацию о том, что Никсон предложил план из восьми пунктов о мире с Вьетнамом или что «Аполлон 10» уже летит к Луне, а за его запуском наблюдали миллионы людей по всему миру. Это путешествие, по словам Стамата, продлится восемь дней, корабль не долетит до цели всего пятнадцать миль, и это будет подготовкой к следующему этапу — высадке человека на Луну. А через два месяца полетит «Аполлон 11» с тремя астронавтами. Я уже не помню, в тот же день или несколько дней спустя он принес новость о том, что в Вепрчанах изобрели лекарство от облысения.

— Больше не будет лысых, некого будет лечить, — сказал Миле, ища взглядом свой сортир на подпорках. — Придется приобрести шкаф, который поднимается мотором с цепью, — сказал Миле Пейкуре и повернулся ко мне. — Не хочу, чтобы мои ноги были слугами задницы. Да и дело не только в этом, — добавил он.

— А еще что? — спросил Коле Долин.

— Чтобы хорошо сходить по-большому, нужна хорошая гравитация, — проговорил Стамат, выбегая на балкон, откуда он попал прямо в сортир, стоящий на подпорках.

В тот же миг, следуя советам Миле Пейкуре, я пытаюсь взлететь, не глядя, достиг ли Стамат цели.

Я лечу вслед за ветром, моргаю, толкаю тележку и смотрю только вперед.

(перерыв на физиологические потребности)

— Как только дойдешь до конца видимого, начинается невидимое, — говорит Миле Пейкуре. — Мечта сбывается, если начать работать над этим заблаговременно, — добавляет он, глядя в зеркало тележки, на которой он едет в бакалею. По кустам под школой катится уже подзабытая песня: ***Вот и лето, птицы, небо, ярок солнца свет, жнут крестьяне поле хлеба, нас счастливей нет! Небо ясно, жизнь прекрасна, и погода класс, сено косим, воду носим, нет счастливей нас!***

В это время Драган Галун уже привез из города мопед, просто раму с двумя колесами, и стал искать приключений, нещадно треща по тихим проулкам, так что скоро добился того, что жители стали натягивать между воротами проволоку, перегораживая улицы. Как-то раз он упал и весь ободрался. Потом он купил у моего отца черную соломенную шляпу, одну из тех, которую среди прочего тот выловил сетями, и было слышно, как, надев ее, Драган ездит из одной части деревни в другую и обратно. При попытке заехать на школьный двор он перевернулся, упал,

и кубарем докатился вместе со шляпой до колодца Кромовых, до мрамора. Без грохота снятого глушителя деревня погрузилась в тишину, такую, что можно было слышать жуков-древоточцев в ставнях и скрип ворот в Шумане. А молчание Гиги Маляра в таких условиях воспринималось как бездна. Он был прекрасным маляром. Фактически, его искусство было как у Шахерезады; днем Гиги всегда молчал, а говорил ночью. С помощью валика, который он привез еще в бытность свою подмастерьем, он раскрашивал стены бабочками, цветами и геометрическими фигурами, так что дома в деревне перешептывались с его благословения. Нам он покрасил верхнюю комнату. Только в ней была какая-никакая стена, которую можно было украсить. При этом рисунок сдвигался по кривизне стены, часть была нарисована более толстыми, а другая более тонкими мазками. Время от времени приходилось кое-что подкрашивать валиком, чтобы краска не прыгала через тумбочки и шкафы. Когда мы уезжали из деревни, комната осталась размалеванной, но не могу точно вспомнить, что в ней было нарисовано, подсолнухи или ромашки.

Мастер Гиги выкрасил и бакалею, которую построили в центре деревни. В старой были полки у стены, перед ними прилавок и в углу несколько ящиков с мукой, сахаром и солью. Пол был вымазан черным прогорклым маслом. Если ты хотел подойти к стойке, нужно было быть осторожным, чтобы не поскользнуться и не сесть невольно на шпагат. У при-

лавка покупателей ждал Киро Быков, толстощекий добряк, в очках на шнурке и с химическим карандашом за ухом. Мечтатель, который по привычке продолжал лизать свой карандаш в новом продуктовом магазине у трансформаторной будки. В магазине было одно помещение побольше и одно поменьше, использовавшееся как склад. Пол был забетонирован, поэтому не нужно было осторожничать тому, кто входил, желая, к примеру, купить бутылку лимонада.

Перед магазином стояла скамья из бруса, и на ней сидели все, кто пил, не платя залог за бутылку и сразу возвращая ее продавцу. Сидели, надо сказать, не только чтобы не платить залог. Около магазина всегда вертелся народ, там постоянно возникали всякие интересные ситуации. Сидящие на скамье, держа бутылки в руках, с интересом ждали, кто же пройдет мимо. После начиналось обсуждение — понравился им человек или не понравился.

А птицы садились на трансформаторную будку, наблюдая за происходящим на скамейке.

На этот раз перед ними была такая картина: мы разглядывали гостей, собравшихся на свадьбу у колодца Кромовых, а Миле Пейкуре учил Драгана Галуна, как можно выпить целую бутылку газированной грушевой воды «Ти-Ка», не дыша через нос. У Драгана ручьем текли слезы, но он терпел, не сдавался. Тогда они поспорили, сможет ли он выпить две бутылки. Он выпил их, рыгнув так громко, как будто взревел бык.

— А три не выпьешь, не сможешь, — сказал Миле Пейкуре.

В районе Биково уже рокотал барабан, а иногда, когда стихало пение птиц, становилась слышна скрипка. В день свадьбы никто ничего не делает; половина ждут сватов, а половина их отправляет. Мимо магазина прошла Меглена со своими родственниками, она была в белом платье, розовом венке и белых перчатках. Я привстал, чтобы поздороваться с ними, но Драган Галун дернул меня сзади за рубашку. Меглена была двоюродной сестрой девушки, вышедшей замуж в городе. Миле Пейкуре сказал, что она подружка невесты и что будет свидетельницей на свадьбе. Меглена махала нам рукой, пока совсем не скрылась из вида.

Музыка гроыхала между холмов, ударялась о бревна на канатной дороге и возвращалась назад. Через некоторое время она стала удаляться и вскоре стихла совсем. Наверняка там готовятся проводить невесту до ворот, а потом продолжить путь без нее, — подумал я.

— Как это без нее? — удивляется котенок под скамейкой.

— Вот так, без нее, — говорю я. — Здесь свадьбу играют сразу в двух местах; одну в доме невесты, другую в доме жениха.

— Когда запахнет угощением, пойдем и мы тоже, — сказал Миле Пейкуре, — разговеемся, полакомимся, а Драган Галун внезапно подпрыгнул,

мотая головой, как ошпаренный; ворона нагадила ему на волосы. Оставшуюся газировку он вылил на себя. В этот момент из Шумана прибежали Коле Долин и Таце Паце.

— Все утонули, — сказал один.

— Все, — повторил другой.

(шокирующая пауза без объяснения)

Когда мы подошли к мельнице, барабан бился о берег. И все уже было кончено. На волнах качался розовый венок, на нем лежала белая перчатка. Другая уже была на берегу. Мы смотрели на озеро, словно окаменев. Может, мы ждали, что кто-нибудь появится, выплывет. Но никто не появлялся. Барабан не переставая грохотал, ударяясь о землю.

Миле Пейкуре прикатил вслед за мной, как будто прилетел, с разгона едва остановившись на склоне. Как я забыл, что мне нужно толкать его, — подумал я. В этот момент я вдруг осознал, что перед мельницей собралось много народа. Женщины плакали, а мужчины пытались помочь тем, кому удалось выбраться из воды. На берегу лежали три трупа. Дуле Пацов сообщил, что утонули восемь человек. Поп Шако поправил, что утонули девять. Восьми удалось спастись *с помощью камеры*. Теперь она лежала на суше. Мы с Миле Пейкуре хорошо ее знали. На ней были две заплатки на самом видном месте.

— В данный момент только она знает, что произошло в тот страшный час, — сказал Миле Пейкуре.

— Камере можно верить, — подумал я. И она заговорила:

— Лодкой управлял Антон Печатник. Вы знаете, мы ведь вместе с вами плавали в монастырь, что лодка вмещает десять человек. А в нее с музыкантами набилось семнадцать. Когда мы вышли из бухты, она начала тонуть. Насколько я могла видеть с того места, где я оказалась, спаслись семь человек. Среди них и барабанщик. Он ухватился за барабан. Остальные всё еще считаются пропавшими без вести. Среди них наш Антон, пловец из пловцов. Как видите, пока нашли только троих — Надежду Петрову, Стефку Петковскую и Цану Тефову. Я видела, что Гюрга Бадева тоже утонула, но ее еще не вытащили. Найти их всех будет сложно; глубина воды здесь больше тридцати метров...

В этот момент я увидел белую перчатку, которая подплывала к берегу озера, а волны уносили ее назад. У меня комок подступил к горлу. На глаза сами собой навернулись слезы. Я ничего не видел, ничего не слышал. Как будто был глубоко под водой.

В предзакатной тишине мы сидим с Мегленой на траве под кустом сирени, представлялось мне, и говорим о жизни. Не помню, взял ли я ее за руку, когда мы вставали, или просто сломал и подарил ей цветущую ветку сирени.

Все еще всхлипывая, я подумал, что ее не было ни среди тех, кого унесли в деревню, ни среди тех,

кого накрыли простыней. Над мельницей пролетела ворона. Несколько ласточек металась над торчащими из воды деревьями. А солнце медленно валилось за горы, превращая озеро в жуткое поле с голыми ветками и тенями летучих мышей. Мы были последними, кто ушел с мельницы. По крайней мере, я думаю, что мы были последними. На берегу остался только человек в форме, приехавший на джипе из-за холмов.

На рассвете, а я всю ночь так и не заснул, мы снова пришли на берег. Милиционер дремал в джипе, по капоту прыгала ворона. Барабан все еще плавал в воде, но венка и перчатки уже не было. — Может, они потонули, — сказал я себе. С ветки, стучавшей по барабану, в воду стекали капли. И всё, на поверхности больше ничего не было. — Может, кто-то все же сумел доплыть до берега, — подумал я. — Не мог же вообще никто не доплыть. Антон Печатник раньше плавал часами и возвращался на мельницу. Две недели назад ему исполнилось двадцать девять, подсчитал я, глядя на список, прилепленный на стену мельницы. В нем было десять человек. Самой младшей одиннадцать лет. Большинству от двадцати до тридцати, а самой старшей — шестьдесят семь.

Моргая, словно сердясь, сова, сидящая в окошке над дверью, сказала:

— Несчастье произошло из-за того, что в лодку залезло втрое больше, чем было можно. Несмотря на усилия сотрудников технических служб мили-

ции, пока не удалось найти никого из пострадавших. Я слышала, что ждут водолазов из-за границы, — сказала она. Я хотел было спросить, от кого она это слышала, если и вправду слышала, но сова улетела на мельницу.

Парень с магнитофоном, как у попа Шако, брал интервью у мужчины и женщины, стоящих рядом с джипом. Барабан жутко грохотал, бил по нервам, но мы все же услышали, что речь идет о супружеской паре, выжившей в катастрофе: «Мы приехали на берег у плотины. Кто-то автобусом, а мы на «москвиче». Припарковали его в надежде, что вернемся с невестой. Мы были спокойны, парня с лодкой мы хорошо знали; он купил лодку, чтобы возить приятельницу, которая работает учительницей в деревне. Мы все ему доверяли», — сказала женщина.

— Я ему сказал: Послушай, приятель. слишком много людей залезло в лодку, не надо торопиться, — добавил мужчина. — Лучше сплавать два или три раза, так и так придется подождать. В первый раз в лодку сели двадцать два человека. Еще столько же осталось на берегу.

— Как он сумел их сосчитать, — сказал Миле Пейкуре. — Наверное, узнал потом, — добавил он.

— Когда все забрались, — сказал мужчина, борт лодки был почти вровень с водой. Однако через некоторое время они отправились; они были метрах в сорока от берега, когда внутрь хлынула вода. Поднялась паника, дети стали плакать...

Пока мы слушали рассказ спасшегося человека, к нам спустился уже упоминавшийся ворон, и мы так и не дослушали, что было с детьми.

— Он ничего не знает и знать не может! В панике человек ничего не запоминает; только миг, когда он осознает, что остался жив, — сказал он. — Я как раз летел над заливом. Я не пустельга и не умею зависать на месте, но я летал кругами и увидел, что лодка сразу начала тонуть. Клюв у меня старый, им уже ничего не поднять. Будь я орлом, я бы попробовал спасти девушку, которая пыталась ухватиться за доску. Но если бы я спустился, чтобы как-то поддержать их, думаю, я бы их напугал. Оставшиеся на берегу люди с ужасом наблюдали за происходящим. Один из тонущих несколько раз показывался из воды, махал руками и исчезал. Озеро здесь такой же глубины, как высота моего полета над заливом.

Когда ворон, сидевший на оливковом дереве, замолчал, мы снова услышали человека у джипа:

— Я уже говорил. Дорога для машин непроезжая; поэтому мы решили переплыть озеро на лодке и потом отправиться дальше на машинах, на которых приехали. Начали садиться. Скоро все места были заняты, но люди продолжали влезать. Некоторые сидели посередине на накачанной шине. Многие с берега нам кричали, чтобы мы не плыли, лодка была полна.

— Да, лодка была переполнена, — сказал ворон. — Я видел это, когда летел над ней, гоняясь за сойкой с монеткой в клюве.

— Примерно в пятидесяти-шестидесяти метрах от берега лодка накренилась и зачерпнула воду, — продолжил усатый мужчина. — Началась паника, женщины и дети стали вскакивать с мест, и мы перевернулись. Все были в толстых пальто и куртках. День был солнечный, но зябкий. Я видел, что владелец лодки пытается спасти девушку в белом платье. В какой-то момент он ухватился за какую-то доску; несколько раз выныривал из-под воды, а потом вдруг исчез вместе с доской. Наверное, в него вцепился один из тонущих... Вот и всё, больше я ничего не видел, — сказал он. Ему удалось спастись вместе с женой. — Мы проплыли несколько метров, почти подплыли к автомобильной камере. В этот момент камеру вдруг стало относить в сторону, — говорил он. — А вода была очень холодной. Моя жена уцепилась за меня; мы в обнимку опустились под воду. Когда выплыли на поверхность, камера была в нескольких метрах от нас. Я сказал жене, чтобы она не боялась, мы поплывем вместе. Эти несколько метров были, как сто. Мы подплыли к камере и ухватились за нее. Только тогда я понял, что мы спасены, — сказал мужчина, глядя на людей, которые собирали предметы, выброшенные на берег, и относили их на ровное место рядом с мельницей. Ворон прилетел и приземлился на берегу. Камера все еще лежала на том же месте. Она была огорожена желтой лентой.

(загнувшийся левый нижний угол листа)

Когда Мирна в первый раз пришла на озеро, с момента трагедии прошло уже три дня. На ней было черное платье с воротником. Кружевная шаль скрывала лоб и глаза. Она долго стояла у мельницы, следя за волнами, набегавшими на гальку.

Ходили слухи, что Антон Печатник спасся и скрывается в монастыре. Стамат Дракон каждый день ходил в город за информацией, принося различные версии событий. Говорил, что без специально обученных людей найти тела невозможно. Было ясно, что на дне много веток, остатки домов, виноградников, садовых деревьев, кустов, мостов, поэтому тела не могли всплыть сами.

— Нужны особые водолазы, а они приедут, когда договорятся с властями, — говорит он, а Драган Галун, поплеывая от скуки, вынимает перочинный ножик и вырезает свисток из ивовой ветки.

— В городе, — говорит Стамат Дракон, — люди собираются у столбов, на которых расклеены извещения, рассматривают фотографии, читают списки жертв, среди которых и семья Петровых. Отец Владо спасся, но его жена Надежда и дочери Мара и Зора утонули. Они первыми вошли в лодку. Потом сели другие; Владо был одним из последних. Когда лодка повернула направо, чтобы выйти из залива, Надежда упала в озеро; какое-то время она держалась на воде. И в этот момент она увидела детей. Старшую, Мару,

тут же что-то потянуло ко дну, а Зора дважды всплывала на поверхность, но потом тоже исчезла. Говорят, Надежда потеряла сознание в воде. Но она не утонула, ее удалось вытащить на берег. Люди сразу же стали пробовать ее спасти. По дороге в больницу у нее началась рвота желчью. Все считают, что она умерла от боли за детей, у нее лопнул желчный пузырь, — сказал Стамат.

В тот момент бакалейщик Чи Киро вышел из дверного проема, вынул руки из карманов фартука и дернул Драгана Галуна за ухо. Тот бросил ветку, над которой трудился, стиснул в руке нож, но головы не поднял.

— Не лезьте в чужие дела! Занимайтесь своими. Оставьте людей в покое. В чем проблема? — сказал он, взял другую ветку и начал ее строгать.

— Проблема в том, чтобы вытащить утонувших, — сказал воробей, прыгавший по пробкам от лимонада.

— В столице, — продолжил Стамат Дракон, — есть глубоководные водолазы, но все они заняты, чистят Охридское озеро. Я читал, что несколько аквалангистов должны приехать в течение этой или в начале следующей недели, значит, их придется ждать четыре или шесть дней. Уже ходят слухи, что никаких серьезных мер по поиску тел не предпринимается; это дорого, и расходы покрывать некому. В то же время приходит информация, что тела и не будут искать; там есть течение, идущее

к турбинам ГЭС, — сказал он, вытащил из-за пазухи обрывок газеты, сунул ее Миле Пейкуре и побежал в нужник, прилепленный к балкону, будто наблюдательный пункт.

(несчастья похожи на колокол)

В этот момент, глядя на пыль, оседавшую позади Стамата, я спрашиваю себя, как же ему удалось успеть — перейти реку, открыть ворота, перебежать через двор, подняться на балкон и закончить дело, как подобает. Но я оставляю его в нужнике и продолжу про вырезку, которую он ткнул в руки Пейкуре. Тела утонувших до сих пор лежат на дне озера, — прочитал я, когда он передал ее мне. — Родные и близкие днюют и ночуют на берегу, но им никто не помогает. Еще писали, что неясно, как будут поднимать тела свадебных гостей, затонувших вместе с лодкой на прошлой неделе. Три дня назад прибыл представитель Центра глубоководных исследований, ознакомился с местом происшествия и уехал, не сказав, будут ли искать утонувших и, если будут, то когда. Он доложит об условиях, ответ будет известен позже. Я прочитал, что в месте, где затонула лодка, глубина девяносто один метр.

— Врут, — сказал Миле Пейкуре, поворачивая коляску к озеру. — Не больше тридцати метров, — добавил он. — Мы там все хорошо знаем.

— На берегу возле места трагедии дежурит милиция, — продолжил я. — Не всплыл ни один труп, не найдено ни одной вещи, принадлежавшей утонувшим, — закончил я.

Миле Пейкуре поглядел на меня в зеркало; я смотрел на другую сторону залива. Я видел то, что видел и он: ворон что-то чертил в воздухе!

Бакалейщик Чи Киро схватил заметку, которую Стамат Дракон вырвал из газеты, и вошел в магазин.

Как только Драган Галун закончил свисток, он дунул в него три раза, и через мгновение прибежал — откуда-то материализовался — Рундо, помесь таксы, сеттера и пойнтера. Пес унаследовал часть от каждого предка в равной степени.

У меня был смирный щенок. Еще когда он был совсем маленьким, мы держали его в резной люльке; потом он со мной никогда не расставался. Он бегал за мной и когда я пытался его отогнать; прятался за деревьями и появлялся, когда мы добирались до того места, куда мы шли. Он не был похож на щенка из кино, но я назвал его Лесси; я знал, что Лесси — самая известная собака в мире. И я знал, что фильм снят по книге, которую Меглена получила за успехи в учебе и примерное поведение. Главного героя, Лесси, продали богатым людям, а его первые хозяева были бедняками. Собака тем не менее хотела вернуться домой, поэтому она отправилась в долгое и опасное путешествие. И мой Лесси возвратился

после того, как однажды потерял нас в саду священника Шако. Он не позволял курам летать по двору, но боялся перьев. Бегал от них, как от чумы. Баба Энка успокаивала его заговорами.

— Дойдет и до него время, — говорю я себе.

На этот раз речь идет о Рундо. Именно, когда мы с Миле Пейкуре пошли к озеру, Драган Галун натравил его на бакалейщика, так что человек после этого три недели ходил открывать свой магазин, прихрамывая.

Тем временем асфальт дошел до центра села, и по шоссе пустили автобус с багажником на крыше. Дважды в день он приезжал в деревню и потом ехал обратно. Развернувшись перед продуктовым магазином, автобус останавливался, высаживал пассажиров и ждал, пока придет время возвращаться в город.

Когда пустили автобус, водитель стал привозить несколько газет в продуктовый магазин, и Миле Пейкуре читал их все по очереди, пока не приходил кто-нибудь, кто хотел купить ту, которую он читал.

На этот раз вместе с обычными пришла цветная газета с множеством фотографий и заметкой о том, что часть утонувших еще не нашли. Я помню эту статью, как будто газета все еще лежит передо мной. Заголовок: «Несчастья как колокол — отзвуки еще долго остаются в памяти». Трагедия произошла около восьмидесяти дней назад. И столько же готовились к свадьбе. Предстоящему торжеству больше всего радовалась Гюра, сестра жениха.

— Слушайте, — говорила она, — давайте устроим такую свадьбу, чтобы она запомнилась! Не поедем по суше, а поплывем по воде, это будет так романтично!

Когда отец невесты услышал об этом, то прямо озверел: «Если приплывут по воде, я свою дочь не отдам!» И сказал, что пошлет человека в город, чтобы тот передал его решение. Посыльный из деревни не успел вовремя добраться до жениха, и сваты поплыли на лодке. Десятеро остались в воде. Трех выбросило озеро; семеро все еще на дне. Возможно, их так и не удастся найти, — пишут в заметке, а выше, в скобках, бьет колокол, эхом отдаваясь в пространстве между левым и правым углами газетного листа.

(может быть, они никогда не всплывут)

Под впечатлением случившегося, что все еще отзывается, как эхо, мы ждем автобус. Смотрим, кто приезжает; смотрим, кто уезжает. Мирна пока не вернулась. И вернется ли вообще, — гадаю я. — Что она думает о своем отсутствии; можно ли жить без тени? — спрашиваю я себя. Уже поползли слухи, что Антона Печатника видели на летнем пастбище в горах.

— Родственники поверили в то, что он жив — сказал воробей, порхавший перед нами по дороге к озеру. — Разве могли они смириться с мыслью, что

такой пловец утонул, — добавил он. — Я видел их в деревнях. Я видел их в монастыре. Они ищут его повсюду, даже в монастырских кельях на скалах.

— Надежда не зависит от природы, — говорит Миле Пейкуре, как будто поняв, о чем разговор. — Надеяться — значит сомневаться, — добавляет он, сворачивая к мельнице. — Говорят, что его мать видели в Петриче у Ванги. Та ей сказала: Я вижу много несчастных людей. Вот, твоя сестра плачет... — У меня нет сестры! — Значит, дома плачет твой брат... — У меня нет брата. — В воде лежит парень в серой одежде. У него шрамы на голове и ноге... У моего сына есть такие отметины, но такие же и у инженера, который утонул вместе с остальными, — сказала она, уходя.

— Голоса, как голоса, парят, как мухи, летают, как тени, — подумал я.

В газете, которую я листал перед тем, как уйти, об этом же говорил районный начальник: Это неправда, что мы считаем эту трагедию личным делом родственников. Мы сделали все, что могли, чтобы найти утонувших. Приезжали водолазы из Центра глубоководных исследований, также тут работали водолазы из столицы, потом группа военных специалистов замеряла глубину на месте трагедии. Они сказали, что там слишком глубоко и что они ничего не могут сделать. Неправда, что община не хочет платить за то, чтобы найти тела...

Подойдя к мельнице, мы увидели, как люди пытаются забросить что-то в воду. У одного в руках

был рисунок местности, сделанный еще до того, как пришло озеро. Железные крюки опустились на глубину в пятьдесят метров. Как сказали эти люди, такой длины была веревка. Потом они что-то зацепили, но вытащить не смогли. Может, это была лодка, может, кто-то из утонувших. Вытащили только несколько веток.

Время идет, а люди остаются в неизвестности: действительно ли сделано все, будут ли доставать утонувших или бросят их на произвол судьбы, — писала газета, которую достал из сумки Миле Пейкуре. Он молодец, что купил ее и принес с собой, — думаю я.

— Если бы я работал в газетном киоске, не было бы газеты, которая осталась бы непрочитанной, — сказал он, перелистывая газетные страницы. На первой полосе медсестра из фильма «Битва на Неретве». Далее фотографии с места происшествия. На одной видны: тот же ворон, часть мельницы и резиновая камера у ворот.

И далее всё в том же духе: в городе ходят слухи, что Антон Печатник, работник типографии «Красная звезда», избежал общей участи и не утонул. Нырнув, он, якобы, доплыл до мыса напротив. Никто его не заметил. Он проплыл еще пятьсот метров, держась за канистру, а затем сбежал в какую-то деревню. Оттуда послал записку, чтобы ему привезли одежду. В подтверждение предположения о спасении говорят, что он, мол, отличный пловец, и вряд ли мог утонуть. А скрылся потому, что у него не было разрешения

на лодку, что он использовал ее, чтобы возить жену в деревню, а теперь боится возвращаться, потому что чувствует себя виноватым. В газете пишут, что лодка вмещает восемь человек, а он разрешил сесть в нее двадцати пяти.

Ворон с фотографии кивнул нам: канистру нашли за мысом в пятистах метрах от места крушения.

— Не удивляйся, — говорит Миле Пейкуре. — Ворон — умная птица. Он, может быть, не очень красив, голос у него хриплый, но ворон есть ворон. Однажды такой ворон сидел на дереве. И захотел пить. Увидел во дворе кувшин и полетел туда. Но воды в кувшине было мало. И достать до нее он не мог. Долго думал, как ему быть, и придумал. Начал бросать в кувшин камешки. Бросал, бросал, до тех пор, пока вода не поднялась повыше. Тогда ворон сунул клюв в кувшин и напился. Знаешь эту историю, так ведь? В школе читали... А можно, подняв воду, убрать ее и добраться до утонувших? — спросил он.

На том месте, где под воду на другом конце поля ныряет дорога в затопленную деревню, — в ту деревню, где находится ушедшая под воду церковь, — мы натолкнулись на милиционера Единского, — прочитал он. — Он несколько дней дежурил возле места трагедии, чтобы проследить возможные появления тел из воды. Пока мы ничего не заметили, — сообщил он.

Что касается канистры, то ее нашли за левым отрогом залива, но туда ее унесло ветром. Ее вытащили из воды и оставили на берегу. Из-за находив-

шегося внутри бензина она раздулась и выпрямилась, а потом ветер унес ее туда, где ее нашли.

— Говорят, что Антон Печатник сначала держался за канистру, но утонул, пытаясь спасти Меглену. Да, так все и было, я свидетель, — сказал ворон. — Он трижды вытаскивал ее на поверхность, — добавил он. — Ее веноч упал в воду, а перчатки плыли рядом с венком, — сказал он, повернувшись к озеру. — Канистра с бензином — ключевое доказательство; настоящий ключ к разгадке всей этой истории, — сказал он и полетел без соблюдения законов природы. Он пересек залив на снимке и исчез за холмом.

На берегу до сих пор есть предметы, напоминающие о трагедии, — прочитал Миле Пейкуре, перевернув страницу. — Да, вот камера, и черный шарф, и палка, которой помогали тем, кто пытался доплыть до берега, а немного выше и букеты, которые везли с собой люди, приехавшие поздравить молодых и засвидетельствовать свое почтение их родственникам. В городе ждут команду из Центра глубоководных исследований; водолазы из столицы, предложившие свою помощь, могут опуститься только на тридцать метров, а глубина на месте трагедии более шестидесяти метров, — прочитал Миле Пейкуре.

— Врут! — сказал он в заключение и повернул коляску.

О чем только ни писали в газетах, что только ни говорил тогда ворон, и все равно ничего не происходило.

Мы ждали автобус, мысли сновали в двух направлениях, и пока они сновали, ударил колокол, и бакалейщик Киро сказал, что это хоронят Меглену.

— Как же ее хоронят, если ее не нашли, — говорит Миле Пейкуре.

— Так, — ответил тот, — положат что-нибудь, чтобы была могила...

Когда мы пришли на кладбище, священник Шако размахивал кадилом. На горке земли перед ним стоял ящик, которую она сама сделала на уроке труда. Я плакал, когда ящик опускали в землю. Меглену не нашли, но ее могила была теперь здесь. Симон, отец Миле Пейкуре, сделал каменный крест, который поставили туда, где зарыли венок, туфлю и заколку.

— Больше ничего не нашли, — подумал я. — Даже перчатку, которой она махала нам, пока не исчезла из глаз, — сказал я себе, когда с плетеной торбой через плечо поехал учиться в город. Миле Пейкуре проводил меня до двери автобуса. Он долго махал мне рукой сквозь чад выхлопов, который тянулся за автобусом.

*(время — это то, что используется
как время)*

Я пятьдесят лет видел его в том дыму, зная, что пятьдесят лет — это кое-что, если начать с того, чего нет.

— Никто не уйдет от того, что было, — говорит Миле Пейкуре, сидя на скамейке у магазина. — Человек носит прошлое с собой. Нет времени без движения, а движение — это изменение точки зрения, — добавляет он. — Не бойся перемен; страх ограничивает движение. Культура страха — это культура расстояния. По сути, движение — это время; время — это то, что ты видишь на часах, а часы изобрел человек. Мое время не существует без меня. Я есть то, что я признаю и чего не признаю, — говорит он. — Меня зовут Миле Пейкуре, лично и персонально. Если бы я родился в другом месте, я был бы Михалис Трагудипуцос, или Массимо Пенекантаре, или Марсело Кантапула, или Милош Пицопевац, или Дашмир Каркадуеши, кто угодно. Миле это Миле во всех измерениях. В самом деле, существует ли идеальная мера для жизни, как есть мера для тела? Много или мало, это сколько? Кстати, и у неправильных пропорций есть свои плюсы, — говорит он. — Неправда, что у нас мало времени. Много времени мы просто не используем, теряем, — заметил Миле, глядя на автобус, который поворачивал по часовой стрелке. Когда он остановился точно по направлению тени, Миле Пейкуре объяснил это педантичностью водителя. Он припарковался так, словно хотел сделать из автобуса солнечные часы посреди деревни.

После мировой войны этот человек остался жить в городе. Он был единственным, кто разбирался в технике. Его прозвали Немцем, хотя он

предпочитал, чтобы его называли по фамилии — Херц. Многие не могли правильно произнести его имя из-за согласных в конце слова, поэтому для некоторых оно звучало двусмысленно. Особенно стеснялись женщины, когда благодарили его за услуги, которые он оказывал бесплатно.

Вот почему, взяв у водителя газету, которую он ждал, Миле Пейкуре произнес «данке», и все. Приподнимая подол платья на ступеньках, Маргаритка Брюхозадова, жена Татомира Брюхозадова, назвала его совсем нежно, так что присутствующие едва удержались от того, чтобы прыснуть со смеху, когда услышали, как она сказала: Спасибо, Херушка, и до свидания.

У автобуса был багажник наверху и лестница сзади, хотя я никогда не видел, чтобы кто-нибудь клал что-нибудь на крышу. Двигатель лежал, как черепаха, между водителем и сиденьем справа от него; когда оно было свободно и когда разрешал кондуктор, я сидел на этом сиденье и смотрел, как птицы разлетаются в разные стороны, когда немец сигналил на поворотах. — Вороны улетают последними, — подумал я, глядя через лобовое стекло. — Вороны умеют считать до трех, — сказал я себе. — Вороны — образованные гады, — вспомнил я Миле Пейкуре.

В то время я был единственным учеником, который стал дальше учиться в городе. Остальные, в том числе Драган Галун, без Меглены, земля ей пухом, продолжили образование в верхней деревне —

до нее километров пять пешком через дубовую рощу. Я тоже хотел ходить с ними, гонять соек по кустам, но мама решила, что я поеду в город. И я, как было сказано, отправился туда с плетеной соломенной торбой через плечо, не зная, где находится школа и как до нее добраться.

В первый же день я понял, что ее хорошо видно оттуда, куда я приехал; школа была недалеко от дедушкиного дома. Провожавшие оставили меня у дедушки, поцеловали в лоб и вернулись.

Первые несколько месяцев я каждую пятницу садился на автобус и ехал домой, с нетерпением ожидая выходных. По понедельникам на рассвете я уезжал в город с тем автобусом, что возил рабочих на винный завод, хватал сумку и бежал на первый урок. В доме дедушки было две комнаты и коридор посередине. Когда я приехал из деревни, верхний этаж только начали надстраивать. Дедушка клал камни вместе с Синаном, своим другом из деревни, откуда они оба были родом; у друга было десять детей; дед позвал его, чтобы работать вместе. Они строили амбары из плитняка и печи из камня, а потом приходили, измазанные в глине, садились под сливу и попивали ракию из фляжки, закусывая острым перцем. Никто не мог понять, на каком языке они объяснялись. Я не знаю, что потом случилось с Синаном; он приезжал на свадьбу моего дяди, и больше я его не видел. В комнате, где они пили ракию, летом охлаждались арбузы. Дедушка поку-

пал телегу арбузов, подгонял ее к калитке, их разгружали, а потом через окно перебрасывали в комнату. Арбузы лежали между буфетом и сундуком, а дедушка, сидевший у двери, вспоминал кого-то и что-то, срезал с арбуза корку по кругу и ел, натыкая куски на нож. Бабушкину стряпню он никогда не ел. Хотя приходил с работы домой выбившись из сил, он умывался, вынимал из чулана медную кастрюлю и начинал сам готовить себе ужин. Иногда сушеный перец, страшно острый, с отварным картофелем, луком-пореем и черносливом; по пятницам фасоль со шпинатом, а по воскресеньям печенку или рис с улитками. Как только он получал задаток или если ему платили за сданную работу, он приносил домой мешок муки, сахар и постное масло, чтобы были припасы до следующего задатка, до новой работы.

(вспоминая кого-то и что-то)

Когда Севда, жившая напротив, приходила за сахаром, а бабушка видела, что его нет, что мешок в сарае пустой, она звала меня в другую комнату и шепотом говорила, чтобы я пошел и купил сахар для соседки. В большинстве случаев из-за лени или упрямства я просил ее сказать, что у нас сахара нет, а бабушка в ответ лишь потуже затягивала платок и смотрела на меня искоса, нахохлившись как воробей — она не поверит, что у нас нет. Через несколько

минут я возвращался с сахаром, и бабушка с радостью давала его Севде займы, хотя та никогда не возвращала долг, ей это даже в голову не приходило, а бабушка никогда не напоминала, стеснялась. Может, мне самому напомнить, чтобы она вернула все, что одолжила, — думал я, — но мне было неловко из-за Камки, ее племянницы, мелькавшей между петуниями, росшими в консервных банках на окне, она меня любила. Она мне улыбалась, когда на уроке географии я на нее смотрел. И тогда в ее глазах я видел все моря, реки и озера, и те, которые я знал, и те, которых не знал. Ночами, когда я беззаботно парил в полусне, я касался ресницами ее носа между банками, и она не возражала, она отодвигала цветы, приносящие хорошее настроение, она щекотала меня пальцем под губой, дула на брови, но недолго, потому что откуда-то, неизвестно зачем, вдруг возникали те семнадцать голов из прошлого, или с ветерком, словно прилетая с желанием остановить меня, появлялся Миле Пейкуре со всеми ароматами деревни, говоря, что на том месте, где утонули сваты, всплыли весла лодки Антона Печатника. В этот момент Камка исчезала, и я оставался с носом в петуниях. И не только тогда. Мои полеты все чаще заканчивались вынужденной посадкой. Меня охватывало какое-то беспокойство, лишавшее уверенности в себе.

В таких обстоятельствах, как уже было сказано, я едва мог дожидаться наступления пятницы, чтобы схватить свою плетеную торбу, натянуть

тряпочные тапочки и унести из дома бегом, чтобы успеть на трехчасовой автобус.

Водитель мурлычет какую-то песню, а кондуктор дремлет на сиденье у двери; по мотору, накрытому черепашьям чехлом, елозит его служебная сумка. Перед магазином, как будто он никуда не уходил, ждет меня Миле Пейкуре. К стене прислонены два лодочных весла. Одно, с треснувшей лопастью, но в остальном — без дефектов, как будто оно и не было в озере, а другое — синее от тины, с округлыми следами посередине.

— Похоже, кто-то сжимал его месяцами, — замечает Миле. — Скоро приедут забрать их, — добавляет он и трогается с места. Он не позволяет мне толкать коляску. Вращая зубчатое колесо, как будто накручивая на него закат, Миле Пейкуре разворачивается за трансформаторной подстанцией, и мы спускаемся к реке. По дороге я узнаю, что в среду умер поп Шако.

— Скончался в движении, прямо на ходу, — говорит Миле. — Не удивляйся, он ехал верхом. Как только он заканчивал службу здесь, он ехал в другую деревню — ту, что рядом с бревнотаской. Потом — обратно. Пока он ездил так туда-сюда, его охватывала дрема, и чтобы не упасть с лошади, которая на самом деле была мулом, он с обеих сторон седла приделал опоры, которые ставил и снимал по необходимости. В ту деревню обычно он приезжал на заре, чтобы позвонить в колокол. В последний раз он подъехал к источнику, но не слез с лошади. Люди подивились,

почему он остался в седле, хотя лошадь уже стояла прямо у мраморного корыта, в которое стекала вода. Шако неподвижно сидел, опираясь на опоры. Крестьяне поспешили посмотреть, что с ним, и могли только засвидетельствовать, что он уже окоченел. Он добрался до деревни мертвым. Его похоронили за алтарем. Между священником Захарией и священником Петре; между вишней и шелковицей. В могиле, которую он сам для себя приготовил. Вот, посмотри, — сказал Миле, заглядывая через забор. — На табличке нет года рождения; он никогда не говорил, когда родился, — добавил он. — Жизнь — это не годы, которые можно посчитать, а время, которое помнится: зачем тебе твои годы; годы нужны государству, как говорил дедушка Драго Дундар, земля ему пухом. Он был коновал, а любил птиц, особенно соек, и за это сельчане над ним насмеялись. Какая разница, сколько лет я пью молоко с медом, грецким орехом и корицей, — говорил он. — И сколько раз хожу в нужник. Я просто делаю свое дело. И никогда не поддерживаю разговоры о смерти. Смерть — вещь постыдная. Лежишь, молчишь под покрывалом из паутины, из носа торчат волосы, а люди стоят перед гробом — им чего-то про тебя долдонят, волей-неволей слушают, хотя их уже ноги не держат, — говорил он. — А почему они должны стоять? Незачем. Я людей уважаю. И понимаю их. Я никогда никому не позволял страдать из-за меня. Чтобы я лежал, пока другие стоят! Как это так, срам-то какой! Стать

невоспитанным, подчиниться смерти — я не хочу, — говорил он. — Я человек слова. Я живу сам по себе и никому не мешаю. Занимаюсь своими делами.

— Дедушка Драго был великий кудесник, — продолжил Миле Пейкуре, когда мы повернули во двор. — Говорят, он мог в мгновение ока повысить или понизить температуру. Последние несколько лет он сидел возле печки и не двигался, только вечером выходил помочиться на светлячков, — сказал мой друг, глядя в левое зеркало коляски. — Перед смертью у него начали расти новые зубы, — добавил он, когда мы поднимались по тропинке над церковью. — В списке, который я нашел в сундуке среди носков, только пятеро здешних жителей, подумай сам, всего лишь пятеро, пересекли столетнюю черту. Из них четверо — женщины. Единственный мужчина, перескочивший сотню, — это мой дедушка, песенник, как говорится, старый дискурсивный интерпретатор повседневной жизни. Свадеб, гуляний и празднований он никогда не пропускал. — Без песни нет желания; без желания нет жизни, — говорил он. — Песня исцеляет и очищает. А кто захочет спеть, найдет песню. Например, один коновал из Куратицы утверждал, что угрюмость вызывает понос и может привести к заболеванию задней кишки. В ящике с носками были и другие бумаги, где перечисляется масса болезней, которые сейчас не встречаются: цыпуха, обмет, порпли, облива, восца, бобушки, папуша, лаптуха, черемнуха, огница, водрик, свороб, шадра, хрупа,

аредь, студенка, трясца, безга, ворогуша, дедюха, чемер, бахмур, скомнота, мутуха... Ну, да ладно, хватит про это. Толкай, блин! Толкай! — вдруг обратился он ко мне. — Человек — это погремушка с ушами! — воскликнул Миле и начал смеяться. И так, смеясь, вдруг запел: ***Как помру я, то не надо ни печалей, ни скорбей, помяни меня и выпей, а потом стакан разбей...***

Когда мы въехали во двор, природа уже растелила закат между сливой и балконом, а моя мама накрыла на стол.

(пробуждение жуков)

В тот самый день, когда проснулись жуки, моя мама, говоря словами Миле Пейкуре, собрала закат с проволоки и, прихватив с собой клубок страстей, отправилась в город, чтобы там начать строить дом, на пустыре над каналом.

Как только высохли первые плиты, а они вышались над землей всего на полтора метра, мама привела аробщиков и велела им выкопать землю, чтобы углубить еще на метр две комнаты в передней части. Она привезла на телеге свое приданое, спальню с комодом, трюмо и двумя тумбочками, которые хранила в сарае. Все это мама разместила в одной комнате, а в другой поставила две пружинные кровати с павлинами, шкаф с матовым стеклом,

эмалированные тарелки и ткацкий станок, на котором она ткала лоскутные дорожки из старой изношенной одежды. Дорожки, разноцветные и мягкие, получались красивыми, хотя и были из тряпья.

Через несколько месяцев вместе с моими братом и сестрой она привезла Лесси, щенка, который боялся перьев.

В обеих комнатах было только по одному окну на высоте переулка, поэтому сквозняков было недостаточно, чтобы высушить влагу. Пол застилали ковриком, чтобы не дуло по ногам.

Баба Энка снова осталась одна в деревне.

— Я не одна, — говорила она, — как это одна, на что ни посмотрю, всё о чем-то со мной разговаривает, — добавила она, отправляя меня в бакалею.

По воскресеньям я приезжал навестить ее, и Миле Пейкуре качался передо мной, как тень.

— Прошедшее время — это переводные картинки, которые собирают в альбоме, — говорит он. — То, чего нет у тебя, есть у кого-то другого, — произнес он, сворачивая перед кладбищем. Я посмотрел на крест Меглены и промолчал. — Из города приехал новый священник, — продолжил он. — Поп Арчи, — добавил он. — Его называют Арчи, а по-настоящему его зовут Аргир. Сначала он появлялся в церкви каждый день. Сейчас приходит только по средам, а иногда еще по пятницам. В те же дни, когда и доктор. Привозит с собой сына. У мальчика не все дома, но в колокол он звонит хорошо. Знает порядок. Три

раза — за хорошее, один раз — за плохое. Его зовут Цанде. Иногда с ними приезжает Мутимир, он же Мутто, племянник попа Арчи. Торгует четками, крестиками, календарями, ладаном и порнографическими журналами. Два дня назад его вышвырнули из автобуса как тряпку. Подложил поддельный билет с печатью парикмахерской, — закончил Миле Пейкуре, когда мы въехали во двор.

Потом бабушка Энка жарит нам яичницу, говоря, что в городе нет атмосферы понимания — чтобы человек к кому-то обратился, а тот бы ответил. Нет такого. Поэтому она не хочет переезжать.

Тем временем немец выучил имена всех пассажиров и знал, где кто выходит. Рыбаков он высаживал у залива рядом с Белым колодцем и с радостью забирал их вечером. В автобусе пахло рыбой. Рыбаки оставляли ему завернутого в газету карпа, бывшего хвостом у руля. Он ремонтировал автобус на месте, пил пиво, сидя на скамейке перед продуктовым магазином, слушал Миле Пейкуре и его губную гармошку, учил Миле играть баварскую музыку, подпрыгивал от счастья, когда тот правильно улавливал звучание какой-нибудь песни, слышанной им в детстве. Но больше всего он радовался, когда в автобус садилась Маргаритка Брюхозадова, жена Татомира Брюхозадова. Одетая так, словно она собиралась фотографироваться, она уезжала в город днем и возвращалась на следующий день утренним автобусом. Когда я в последний раз возвращался

из деревни, водитель усадил ее на сиденье рядом с собой, по другую сторону от двигателя, так что немец смотрел больше на нее, чем на дорогу. Впрочем, дорогу он знал наизусть — семь поворотов направо, три налево, три подъема и столько же спусков. И в обратном направлении то же самое, только наоборот. Он знал каждое дерево у кювета, мог вести автобус с завязанными глазами, но ехать с Маргариткой все равно было рискованно. Она, как будто специально, меняла положение ног, скрещая их, словно повторяя изгибы пути. Дорога в основном шла вдоль берега, вода чуть не была по колесам, но все же, к счастью, мы ни разу не упали в озеро, хотя однажды случилось так, что автобус заехал в сад Трчаловых, при этом водитель сразу свалил вину на перебежавшую дорогу козу, а не на Маргаритку Брюхозадову, сидевшую с ним рядом. И когда он парковался посреди деревни, то смотрел на нее во все глаза до тех пор, пока она не скроется за домом Кромовых. Немец клал под колесо автобуса полено и бежал в кафе Йовковых, чтобы оттуда посмотреть, как она развешивает белье на балконе.

(фитиль в груди)

Когда я в последний раз приехал к бабушке Энке и привез ей лекарство, она уже плохо ориентировалась в реальности и едва узнавала меня.

Водитель перегнал меня у колодца Кромовых, спеша войти в кафе. На обратном пути, спасаясь от дождя, падавшего на стерню, я спешил к остановке и увидел, как из этого кафе выезжал на коляске Миле Пейкуре, а девушка — с задом на загляденье — помогла ему спуститься в проулок и зашла обратно внутрь. Миле Пейкуре в тот момент не видел меня, но когда он появился на автобусной остановке, то рассказал, что в деревню приехала девушка с глазами, как небо, а глаза — самое главное для полета.

— Я зову ее Лулу Уайт¹, и она не злится. Может, и не знает, кто это. Мы с ней очень хорошо ладим, когда у нее свободное время, — сказал он. — У нее фитиль в груди, — добавил он, протягивая мне газету, в которой карандашом было подчеркнуто, что «водолазы из Центра глубоководных исследований извлекли тело барабанщика в такой позе, как будто он стучит по барабану». Раз его вытащили в таком положении, значит, он умер, играя, — подумал я, хотя раньше во мне откуда-то появилась и жила мысль, что его спасли. — Нельзя доверять всем без разбору, как и самому гарантировать, что говоришь правду, — такая мысль приходит мне в голову.

Он держал палочки так, словно бил в барабан. Лодку найти так и не смогли.

¹ **Лулу Уайт** — хозяйка борделя «Махогани-Холл» в Новом Орлеане в начале XX века. Ее заведение было излюбленным местом поклонников джаза.

Где теперь эта лодка, — думаю я, — глядя на струи дождя, хлещущие по лобовому стеклу и растекающиеся улыбкой Меглены. Она говорит мне, что во времени позади нас остается то, что не заканчивается вместе с нами. — И это время — время для плача. Нам хотелось бы многое забыть, но правду не стереть ластиком. Все могло быть по-другому; всегда может быть по-другому, но все так, как должно быть, — говорит она и улыбается.

— Не знаю, говорила ли я тебе, что люблю, например, леггинсы, — сказала она однажды после занятий. — Утверждают, что они сохраняют тепло, защищают ноги от трения. К тому же подчеркивают изгибы тела. А женские ноги не только для ходьбы, — говорит она. — Чтобы понять женщин, нужно понять их ноги. Женщины с полными ногами честные и сердечные; женщины с худыми ногами — холодные и лицемерные.

— Лосины, обтягивая ногу от лодыжки до бедра, дают возможность определить именно это, — объясняет водяная полоска, спускающаяся по стеклу.

— Я видел их в кино, — хочу сказать я. — В кинотеатре «Балкан» всякие фильмы показывали, помнишь? По мне, они похожи на кальсоны, хотя их носят как обычные штаны.

— Говорят, что черные подчеркивают стройность фигуры. Их лучше носить с короткой футболкой или блузкой, — произнесла водяная полоска, — тогда видны бедра, чувствуется линия трусов, — добавила

она откуда-то из-под пальца, которым я водил вслед за струйками воды снаружи.

Я гляжу на нее, разлитую по стеклу, слушаю, как немец громко возмущается на своем языке, объезжая кучи грязи, которые ливнем намыло на дорогу, и мысленно возвращаюсь к леггинсам. В журнале, который я взял со стола из комнаты Мирны, потому что увидел, что там есть что-то про это, я прочитал, что леггинсы отлично подходят для похудения; они впитывают пот и остаются сухими. Материал между ног дышит, а женщинам хочется, чтобы между ног дышало...

— Знаток какой! — говорит струйка, поворачивающаяся вслед за поворотом автобуса.

Перед тем как надеть их в первый раз, окуните их в воду, положите в пакет и оставьте на ночь в морозильнике. Когда вы их вынете, они станут плотнее и прочнее, гораздо более носкими. Надевать их нужно, когда они сухие, — прочитал я в журнале.

— Я очень люблю леггинсы, — сказала струйка и скрылась за рамкой окна. Я думал, что взорвусь. Уже слышал шипение в груди. Вытер глаза платком бабушки Энки. — Кто знает, где они сейчас, — сказал я себе, а потом попросил немца высадить меня у кладбища, чтобы не ехать до станции, а потом возвращаться обратно. Наш дом находился сразу за кладбищем; не знаю, думала ли об этом мама, когда покупала участок, или, может быть, она неосознанно выбрала то, что было нашей судьбой — вечно жить возле кладбища.

(известняковый крест с дыркой)

Через некоторое время, а только время, которое проходит через нас, это наше время, бабушка Энка переехала жить к нам, **не зная, что переехала**, так что в следующие несколько лет я был в деревне всего два раза; к сожалению, по печальным поводам. И Миле Пейкуре уже там не было; он переселился к матери в город. Его отец погиб в каменоломне; берег обрушился, когда он добывал ракушечник, чтобы сделать крест для Стамата: в него ударила молния, когда он сидел в нужнике на втором этаже. Природа не прощает, — говорю я себе. Миле Пейкуре сказал, что оползень завалил Симона в том месте, где был след. Он сказал это молча, глазами. Никто, кроме нас, не знал, что было в скале. Симона похоронили рядом с попом Шако под шелковицей; накрыли его пижмой и поставили крест, который он сделал для себя. Небольшой известняковый крест с отверстием посередине.

Сразу после этого Миле Пейкуре стал горожанином. И время помчалось как не мое. Иногда из кабинета химии на втором этаже я видел, как он едет по площади, и люди останавливаются, чтобы посмотреть на резное инвалидное кресло. Миле разворачивается около памятника революции и задерживается перед витринами, чтобы дать возможность любопытствующим разглядеть его со всех сторон. Взрослых удивляла резьба на коляске стула и пестрые носки, а детей — зеркала, закрепленные на подлокотниках.

По выходным же, как только он заканчивал свою прогулку, он отправлялся в кондитерскую Котки, съедал эклер, выпивал бозу, а потом сворачивал у магазина пуговиц Евы Мрак и по улице, идущей мимо церкви, выезжал на окраину. Путь всегда был один и тот же, и обычно заканчивался в нашем дворе. Мама радовалась, когда видела, как он переезжает через канал по мосткам и заранее открывала калитку, чтобы он не останавливался у забора. Лесси радовался, как умел, под террасой. Он был не такой, как в деревне. Не лаял и не выл, не обращал внимания ни на что, и никто не обращал внимания на него. Он был равнодушен, как поп Шако на похоронах. Дремал у окна подвала, ожидая заката солнца за окном. Моя мама продолжала низать табак, который она посадила за кладбищем, а я рассказывал Миле Пейкуре, что здесь, во дворе, под сливой, выросшей таким же диким образом, как и дом, я начал строить некоторые планы на будущее.

Я рассказал ему, что хочу стать специалистом по вину, что собираю тексты по этой теме и перепечатаваю их на старой пишущей машинке, которую мы недавно купили с рук. Я думаю, что моя мама решила ее приобрести, услышав, как я упрасивал соседку, которая училась на машинистку, одолжить мне свою, а та сказала, что сможет давать ее только раз в месяц, и только если я буду работать ночью. Я печатал несколько часов, до рассвета.

— Во всяком случае, теперь стало намного легче, — сказал я.

— А что ты перепечатываешь? — спросил он.

— Тексты про вино, которые нахожу в газетах, журналах и книгах. Аж пальцы болят от печатания, — пожаловался я.

Когда мы остались одни, он, повернув коляску в сторону города, заговорил о том, что мы многого не видим, но это не значит, что оно не существует.

— Чем больше становится семья, тем быстрее она исчезает, — сказал он. — В огромном количестве потомков, как в зыбучих песках, тонет создавший их предок. И они уже не родственники. Планета тонет в полчищах отпрысков, неважно, какого колена, важно, что они потомки одного мужчины и одной женщины. Я говорю не о тех, кого выгнали из сада, а о настоящем дедушке и настоящей бабушке. И как тут теперь найти девственность? Как стать честными детьми еще более честных родителей? Мы можем перестрелять друг друга, но девственная плева должна остаться нетронутой! Так? Не буду дальше переливать из пустого в порожнее, я уже высказывался на эту тему. Во всяком случае, нужно задрать голову вверх, чтобы держать нос по ветру. Если нос горизонтальный, как у собаки, можно многое унюхать в воздухе, — говорит он, поглаживая Лесси, стоящего на задних лапах у колеса коляски.

В одно из таких своих воскресных посещений Миле сообщил, что его кум Козьма Кромов нашел ему работу в палатке у явора, что он будет продавать газеты и сигареты; в другое он заявил, что привел ту из кафе

Йовковых к себе; в третье — что Драган Галун переехал в город, получил квартиру от общества ветеранов и что его устроили в муниципалитет водителем.

Я принял это как факт, ничего не сказав.

Через несколько месяцев мы говорили о времени, которое хранится как консервы: его нужно только подогреть, чтобы оно было как новенькое.

— Какого хрена человек чего-то требует от жизни, если жизнь от него ничего не требует, — сказал Миле Пейкуре. Он погладил Лесси у ворот и поехал мимо самовольных построек вдоль канала, который шел через дворы к винограднику. А по винограднику были разбросаны разломанные картонные коробки. Поздно ночью, паря над рядами столбов, я видел, как елозят туда-сюда парочки под лозами; я смотрел на них с позиции воздушного змея, со многих ракурсов, и думал, что человеческий род — часть рода жуков, движения людей и жуков в таких случаях одинаковы. Самки ерзают в кустах, а самцы роют ногами ямы.

По улице вдоль канала ездили машины с женщинами, спрятавшимися на разложенных передних сиденьях, чтобы сидящие во дворах не видели их через лобовое стекло, хотя в зеркалах заднего вида мелькали их прически, приклеенные к спинкам сидений, обитых клетчатой тканью.

Как-то Миле Пейкуре вдруг сказал:

— Репутация не важна, важнее всего доверие между людьми. Ничего не произошло, если ты

не знаешь, не уверен, что это произошло, — добавляет он, и я признаю, что у меня проблемы со стеснительностью.

— Я не знаю, как сказать то, что я хочу сказать, поэтому я не могу даже посмотреть человеку в глаза, чтобы у меня не покраснели уши. И не только это. Меня преследуют несчастья, — говорю я.

— Какие еще несчастья? — спрашивает он. — Это слишком широкое понятие. Неудача, неприятность, затруднение, что именно? — спросил он.

— Точно не знаю, — ответил я.

(что не известно)

В третьей комнате наверху, которую мы закончили этим летом, стоит диван с тремя креслами и небольшой столик, на который я ставлю пишущую машинку, когда перепечатаваю тексты из тетрадки.

Я публикую в городской газете подборки о вине.

— Пишу разное: что нет плохого вина, есть только плохая закуска и плохая компания. Пишу о массаже с вином и медом, о чувстве свежести и легкости. Вино — эликсир жизни, эликсир для души и тела. Вино — лучшее средство против старения и тому подобное. Я пишу о купании в вине, но это штука дорогая. Чтобы наполнить ванну, нужно сто

бутылок вина! В вине ключ к неведомому. Вино делает возможным все. При этом, если его пить медленно, оно одаривает нас магией и страстью. Вино — это бальзам для кожи, — говорю я Миле Пейкуре, а он кивает. — Винзавод даст мне стипендию для учебы в столице. Я буду экспертом по вину, — сказал я, и он искоса посмотрел на меня в зеркало. Сначала в одно, потом в другое.

— У нас тут все эксперты. Каким будешь ты? Будешь делать то, что будут пить, или будешь пить то, что будут делать? — спросил он.

— Буду пить за деньги, — говорю. — В качестве эксперта, — ответил я и повез его в тень.

— Я начал рассказывать тебе о текстах, которые я перепечатаваю, — продолжил я. — Я перепечатаваю то, что собрал, всё, что может пригодиться. Однажды дома никого не было, все ушли — по-моему, были в больнице, навещали деда. Когда я печатаю на машинке, я не слышу стука входной двери; и тогда не услышал. Я и не заметил, как она вошла.

— Кто вошел? — спрашивает Миле.

— Она, — говорю. — Та девушка, которая одалживала мне пишущую машинку. Она была в легком платье с запахом. У нее были блестящие гладкие ноги и свежeweымытые волосы, распущенные по плечам. Поглядев на клавиатуру, она села в кресло напротив меня. Как только я встал, чтобы поменять бумагу, она тоже встала, чтобы посмотреть, что

я пишу, и тут, когда она усаживалась в мое кресло, полы халатика разошлись, сверкнула другая часть ноги, та, которую не видит солнце, и я ладонью дотронулся до чего-то похожего на крыло бабочки.

— Вот если бы там поползал мой жук, тогда бы она поняла, что такое блаженство, — сказал Миле Пейкуре.

— И тут, — продолжаю я, — она опустилась на ковер, подтянула к себе ноги, а потом раздвинула колени, и платице распахнулось, обнажив кружево с бабочками в прорези. И только я присоседился к ней, ставив до колен все, что ниже пупка, как загромыхала металлическая входная дверь, я метнулся на кресло, она на другое, и тут вошел он с гроздьями винограда в руках.

— Кто он, — спросил Миле.

— Драган Галун, — ответил я. — Он был в винограднике и принес виноград нового сорта, посаженного им на пробу. Урожаем он был доволен. Драган оставил грозди на столе, почесал под мышкой и вышел. Вот и всё, — сказал я.

— Больше ничего? — спросил он.

— Девушка оторвала несколько виноградин, завязала пояс, вытащила трусы из щели между диванными подушками и ушла. Дверь хлопнула и закрылась, а я остался глядеть в будущее.

— Ты слишком много смотришь, черт побери, — говорит он. — И слишком долго ждешь. Почему?

— Не знаю, я стесняюсь...

— Действие — мать знания. Возник момент — включаешься и сразу действуешь...

— Как так сразу?

— Она может передумать!

— Но ...

— Никаких но! Или пан, или пропал! В последнее время они стали много выпендриваться, строят из себя не пойми что. Впрочем, и пидоры не могут без этого, даже если это просто задница, — сказал он. — И сделай себе ключ. Никогда не знаешь, кто может вломиться, — добавил он.

— Я не успел объяснить ей, как делать зеленое вино... — сказал я.

— Осторожнее, а то пока ты объяснять будешь, у тебя жук лопнет, — сказал он, уходя.

А потом, каждую ночь, настукивая разные винные истории, я летал сквозь облака мух и смотрел, как на картонках дергаются жуки эволюции, как им предписано по плану жизни, придуманному сами знаете кем, кто сказал: и был вечер, и было утро.

Летом Миле Пейкуре приезжал чаще. В первый приезд он сказал, что девушка, с которой он живет, беременна; во второй раз, что они потеряли ребенка; в третий раз, что его мать заболела; а в последний раз он говорил о Драгане Галуне. Тот останавливался на своем джипе у палатки и заставлял его петь неприличные песни перед людьми, играющими в нарды под явором.

Драгана Галуна я знал как облувленного, а девушку Миле Пейкуре видел на похоронах его матери. Она была стройная, с крепкими бедрами, но какая-то изможденная. Глаза у нее были не голубые, как небо, а серые, как туча. И говорила она как-то странно, языком птицы и языком рыбы. Иногда она открывала рот, а голоса не было слышно, а иногда говорила, будто щебетала. Миле Пейкуре любил ее в обоих вариантах. Когда она говорила на языке рыбы, он пел, а когда говорила на языке птицы, он играл на губной гармошке. Через несколько месяцев, когда мы увиделись в его палатке, на нем уже не было вышитых носков с веревочками. На правой ноге был ботинок; левая штанина подвернута и застегнута английской булавкой. И коляску он переделал. Установил свое большое резное кресло на платформу от какого-то трехколесного велосипеда с моторчиком, который он нашел на свалке, так что теперь он мог двигаться намного быстрее, чаще приезжать к нам и спускаться к явору, не мучаясь с тормозами. Поскольку явор был таким большим, толщиной с его будку, люди ходили вокруг дерева, чтобы прочитать некрологи, висевшие на стволе. Миле Пейкуре тоже сначала объезжал дерево и только тогда входил в ларек, поднимал прилавок и вынимал газеты. Именно на этом яворе я увидел некролог дедушки Георгия, а месяц спустя некролог бабушки Тодоры. Я ездил на похороны обоих, а через некоторое время и на третьи похороны, грянувшие как гром среди ясного неба.

(время, текущее из бачка унитаза)

Апоплексический удар случился с отцом в шахте, куда он пошел работать, чтобы быть ближе к нам, быть с семьей. Мама не хотела, чтобы он шел туда, где работал раньше, хотя там был шанс получить квартиру. Она сказала, что там ему никто не поможет, ни в радости, ни в горе; все его родственники здесь, в городе, вокруг него. Папа всегда обнимал и целовал нас, когда приезжал издалека. Мама говорила ему, что у нас все хорошо, что деньги приходят, что на хлеб хватает и что мы здоровы. Папа долго смотрел на нас, не верил своим глазам, что мы так быстро растем. Диву давался.

В тот день, когда у него случился инсульт, было ужасно жарко, в кабине грузовика еще жарче, а у него закончились лекарства, так что произошло то, что произошло. Папа умирал, не понимая этого. Он никогда не верил, что может умереть вот так — таким беспомощным и тихим. Мама отгоняла от него мух, гладила ему руку и ждала, что он откроет глаза, чтобы сказать ему, что мы здесь, рядом с ним.

По коридору прошел старик на костылях.

Подушка папы мокрая; рука у него свисает с кровати.

На рассвете он открыл глаза во второй раз. И все уже было сказано. Воздух заклокотал у него в груди и испарился — был уже день.

Время продолжало утекать из бачка больничного унитаза.

Мы похоронили его в деревне, рядом с дедушкой Ильей, рядом с его отцом и братьями, чьих имен мы не знаем. На известняковой плите было выбито имя его сестры Султаны; она умерла, когда ей было восемь лет.

Жизнь — улица с односторонним движением; никто не возвращается назад; и путь у всех свой, нет двух одинаковых. В один прекрасный день, когда мы обернемся и посмотрим назад, а такой день будет у каждого, мы поймем, что время, оставшееся позади, никак нельзя перенести вперед, нельзя ничего добавить к отведенному тебе времени.

— Человек, которому семьдесят, если считать лета, не может надеяться еще на столько же, — сказал Миле Пейкуре. — Тот, кому пятьдесят, может мечтать об еще пятидесяти. Но время, которое у нас есть, нужно защищать от бури фантазий, — сказал он, когда мы уходили с кладбища.

После смерти отца дощатый пол целыми днями скрипел, как будто это были шаги.

— Смерть — это не больно; больно то, что приходит потом, — сказала полка, которую он принес в дом вместе с часами с вращающимся подсолнухом под стрелками. Полка стояла на столике с искусственными цветами в прихожей, а часы висели в комнате с креслами.

— Для текущего времени смерть — это способ разоблачить ложь жизни, — добавили часы.

И вот, среди этих предметов, повинуюсь тому, что клокочет в нас, мы снова и снова говорим о сле-

дах на плане, который мы постоянно носим у себя в голове, о следах, которые являются подтверждением пройденного нами пути, но при этом мы задаемся вопросом, все ли эти следы — наши следы, не смешиваются ли они иногда с чужими, по которым мы ходим, не подозревая об этом.

— Недавно, — говорит Миле Пейкуре, — я прочитал, что Нил Армстронг не высаживался на Луну, и доказательством этого является тот факт, что след не соответствует обуви, которую он носил. Астронавты носили сапоги на плоской подошве, а следы на поверхности Луны были ребристыми. Если сравнить изображение его сапог с фотографией того, что осталось на Луне, то видно, что в этих сапогах он на Луну не ступал. Либо в момент высадки он носил другие сапоги, либо его там никогда не было. Кроме того, «Аполлон 11» весил одиннадцать тонн и не оставил следов в пыли. Если это так, то почему никто до сих пор не проверил, а был ли там кто-нибудь? Надо слетать на Луну и посмотреть на месте, — сказал он. — Если бы я был там, я бы ходил на одной ноге. Вот бы все недоумевали, что за маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Во всяком случае, если астронавты тогда там были, то может же кто-нибудь побывать там сейчас?! Если люди действительно были на Луне, на грунте должны были остаться их следы, — говорит он.

— Как следы, которые мы оставили в деревне, — пронеслось в моей голове. — Те следы можно

узнать по большому пальцу, по мизинцу, по своду стопы, — думал я.

— Верно, — сказал Миле Пейкуре, словно читая мои мысли. — И в таком контексте, ну, если говорить о следах, наша жизнь есть цена смерти того, кто жил до нас, — закончил он, встал, оперся на меня, и мы стали медленно спускаться по лестнице.

Когда мы вышли во двор, он сказал, что обвенчался с девушкой, говорящей на языке птицы и на языке рыбы, и что она снова беременна.

— Я молю того, кто невидим, а если что-то невидимо, это не означает, что оно не существует, на этот раз помочь человеку родиться, — сказал он. — Приходи, попробуешь, что такое настоящее вино, — добавил он и уехал, пуская дым в штакетник.

Глядя, как он уезжает, я вспомнил про следы ног, оставшиеся после нас в пыли по всей деревне. И следы его тележки, конечно. Когда я представил себе эту картину, то, не знаю почему, мне вдруг пришла на ум песня, которую Миле напевал, когда со сливы во дворе опадали цветы: **Бело облако, скажи, где сегодня было, отчего ты на меня смотришь так уныло, не над домом ли моим нынче ты парило, не слыхало ли ты, что мама говорила**, и я вспомнил о своем отце, который одно время проезжал, пусть не часто, через город на автобусе, который он водил; я вижу, как он в туалете на автобусной станции передает мне свою зарплату, завернутую в газету, говорит мне, как получше ее спрятать, а потом знакомит

меня с певцом, который едет с ним в город консулов¹, певцом, который так красиво, сладкозвучно поет эту самую песню, песню, которая вертится у меня в голове... Я мчусь сквозь припев, убегая от некрологов на деревьях, стискивая зарплату за пазухой и добираюсь до этого сегодня, до того, что можно потрогать. Я толкаю дверь в дом и думаю, какие следы остались позади меня — мои тогдашние, мои теперешние или какие-то совсем другие, в которые я вхожу, как в свои.

(если не верите...)

В ларек Миле Пейкуре или, точнее, под явор рядом с ним, приходили разные бездельники, которые хотели послушать, что он рассказывает, а когда поняли, что он еще и поет, как соловей, и на губной гармошке играет, как настоящий музыкант, то доски для нардов, которые они носили с собой, оставались плотно закрытыми. Если не верите, спросите меня, — сказало то, что невидимо. Пришла толпа нищих, таких как Ицо Огарок со спичкой в одной руке и щепкой в другой, угрожавший сжечь любого, кто упомянет о бывшей жене, погубившей его как человека; он был единственным в округе, у кого на одежде

¹ Город Битола известен как город консулов, поскольку во времена Османской империи здесь находились консульские учреждения европейских стран.

не было ни единой пуговицы. Он ненавидел застёжки, поэтому, если случайно надевал что-то с пуговицей, спрятанной под швом, которую он вовремя не увидел, то в панике старался оторвать и поскорее избавиться от нее, как будто это был вонючий клоп, прилипший к коже. Пришел и Чочо Мерка, говоривший, что засранцы, которые чешут на его счет языками, увидят, как он с ними разберется, когда станет *президентом страны*; заходил и Эко Эй, человек, который из всех слов на свете мог сказать только то, что осталось ему в качестве фамилии; он смеялся над тенью своего перкалевого плаща, но очень злился, если кто-нибудь упоминал, что футбольный клуб торгует договорными результатами домашних игр, что было правдой, хотя он не хотел в это верить. Он присутствовал на каждой тренировке и всегда, при любой погоде бегал за мячом за воротами. По правде говоря, он бегал больше за тенью мяча, чем за мячом как таковым. Заглядывал и Часлав Бабачев, юноша, которого провидение одарило знанием обеих сторон человеческой природы. Пришел и Чертик Мой с козой, которую он пас на цветочных клумбах, говоря, что он обращается с ней, как с пчелой, чтобы пить молоко с медом; мать называла его так с детства, с прилагательным после имени, и никто не звал его по-другому, никто не звал его только по имени; приходил в определенное время, когда был свободен, Тошо Заноза, человек, который читал только старые газеты, так что Миле Пейкуре специально

для него хранил прошлогодние экземпляры. Хотя он то и дело спрашивал, что нового, но, в сущности, был доволен, услышав, что ничего нового нет, возвращал газету и с собакой, которую носил на руках, шел к себе на рынок, где продавал никому не нужные шнурки.

Когда Драган Галун устроился на работу водителем в муниципалитет, служебный джип тоже часто стоял под явором. В то время он носил усы, как у Кларка Гейбла, и шейный платок а-ля Джон Уэйн. Он был одним из тех, кто пользовался особой защитой и потому часто находился «под газом» и в таком состоянии обожал болтать о каких-то заговорах, организации и конспирации, а в связи с этим говорил, что Антон Печатник, муж Мирны, еще жив, что он спрятался где-то на море, что он не приезжает в город, потому что знает, что получит пожизненное за то, что произошло на озере. Когда Миле Пейкуре это услышал, то вышел из лавки, но когда увидел его, криворотого и осовевшего, гнев его тут же прошел, и он пригласил его присесть рядом на каменную ограду. В этот момент было слышно только мух, ползающих по некрологам. Через некоторое время, сидя на ограде, он спросил, что нового, как жизнь, а Драган Галун ответил, что он женится, что нашел хорошую партию, что девушка не бесприданница и что он получит пять гектаров виноградника с белым виноградом. Буду делать коньяк и вино *а-ля Галун*, сказал он, вскочил и принес из джипа бутылку с ручкой, открыл

и сунул ему. Ты будешь крестным отцом, — добавил он. Миле Пейкуре отпил немного и Драган передал бутылку собравшимся зевакам. ***Пью вино я, когда хочу, на коне вороном скачу,*** — заверещал он, шевеля усами. — Подпевай, твою мать, — маша руками, кричал он. ***Конь дороги все знает сам, по полям ходит, по лесам,*** — пел он. Подпевай, твою мать, — сказал один из нардистов. — Пой, блин, — сказал другой, пришедший за сигаретами. — Пой давай, — сказал третий, пришедший купить газету. Миле Пейкуре петь не стал. Он заскочил в палатку, достал губную гармошку и начал играть. Когда закончили на песне ***холостым мне лучше было, мама,*** жених сообщил, что свадьба в воскресенье, а потом сел в джип, развернулся вокруг явора и уехал. Перед наступлением темноты ушли и нардисты, держась за перила моста. Вскоре после того, как они скрылись за рекой, Миле Пейкуре закрыл магазин и поехал на трехколесном мопеде к тому месту, где сидел Тошо Заноза с собакой. Он потерял свое имущество из-за собственной доверчивости; просто поручился за кого-то. Рядом с коробкой, где лежали шнурки, он ставил вазу с цветами, а собаку держал на коленях. В законах, которые то принимали, то отменяли разные государственные структуры, не было места ни для человека, ни для собаки; у него не было права ни на пенсию, ни на социальную помощь, ему даже не давали разрешения жить в бараках за рынком; два раза его выбрасывали, как тряпку, вместе с собакой, — думал он по дороге.

После стольких попыток вписаться в систему он опустил руки и перестал обращать на систему внимание, но и система перестала обращать внимание на него, оставив его в пассаже в самой оживленной торговой части города. Примирившись с судьбой, он сидел на тротуаре, не сердясь на имущих и не радуясь бедам неимущих. Он с пониманием относился и к тем, кто врет без надобности, даже и к защитникам прав животных, которые после всех обещаний помочь с тележкой для собаки бросили его, и он и дальше держал ее на коленях, как младенца, а потом нес на руках в ангар, принадлежавший Дирекции государственных резервов, где они спали, укрывшись рассекреченными документами. На рассвете собака двигала ушами, чтобы показать, что она не спит. И это все, что она может сделать, прежде чем попытается встать на передние лапы, — вспоминал Миле Пейкуре, полный решимости еще раз предложить Тошо Занозе переехать к нему; во дворе есть летняя кухня, ею никто не пользуется; он может оставаться, сколько хочет, он не помешает.

(зачем мне все это нужно)

Из газеты, которую ему дали накануне, Тошо Заноза узнал, что правительство приняло программу защиты благоденствия собак. Сначала он немного растерялся, поэтому, задержав на мгновение палец

на запятой, понял, что не знает, что такое благоденствие. Возвратив ноготь к началу заметки, он перечитал ее снова и еще несколько раз. Когда солнце показалось в другом конце туннеля, собака уже лежала у него на коленях. И совершенно не задумывалась о том, что Тошо Заноза из всего, что прочитал в газете, понял только, что речь идет о какой-то еде и о чем-то в связи с какой-то защитой. Он погладил пса одной рукой, а другой разровнял лист, лежащий на тротуаре. При определенных обстоятельствах он дочитал бы газету до конца, но сейчас он ее сложил, сунул в карман плаща, убрал в рюкзак ее коробку с шнурками и банку с двумя-тремя монетами на дне, взял собаку как младенца на руки и пошел туда, где они проживали без согласования.

Перед выходом на улицу он увидел трехколесный мопед Миле Пейкуре, отвернулся и поскорее нырнул в переулок, чтобы лишний раз не объяснять, что не хочет идти к нему в летнюю кухню. Ему не нужна милость. Ему не нужна нежность, сострадание, поддержка, прощение. Он должен сам платить за что бы то ни было. Потом, в ангаре Дирекции государственных резервов, они долго не могли уснуть, — собака потому, что выпалась, а он потому, что разволновался от прочитанного, — так он опять вспомнил того, с брезентом для палатки, того, кто сказал, что живет благодаря птицам, которые его обожают. Много раз он, разведя в стороны руки, как птица, часами наблюдал за голубями. Они тоже

живые твари, — говорил он. И они не только живут, но и радуются жизни, мечтают, у них есть свои тайны, они умеют любить, как и мы; у них свои ожидания и надежды. Ради них стоит жить. И у них, как и у меня, ничего нет, дома нет, а тем не менее они радуются жизни. Когда их нет, я не знаю, что с собой делать. Мне тяжелее всего, когда я размышляю о будущем; думаю, что бы было, если бы не случилось то, что случилось. У него была своя фирма, он разводил трюфели, дорогие грибы, было двадцать работников. Он стал жертвой обмана и мошенничества. Почти как я, — сказал он себе, поглаживая собаку. Я доверился своему собственному брату, а он меня тупым ножом зарезал. Я люблю его, и я умер. Если я смогу, если хватит сердца, я помочусь на его могилу, — подумал он. Не тот силен, кто бьет, а тот, кто терпит, — сказал человек в брезентовом плаще и ушел. И уже никогда не возвращался в ангар. Да, точно, он так и не вернулся, — подтвердила собака. Многие не возвращаются, но парень в очках без стекол возвращался трижды, — послышался голос того, что не видно, и оттуда упали несколько капель; через некоторое время полил дождь и почти сразу прекратился, а через несколько мгновений, как при простой дигрессии, снова пошел, как будто в первый раз. Парень поднимал собаку сзади, учил ее ходить на передних лапах, — подумал он. И плакал, как ребенок. Я спросил его, почему он плачет, как будто у него умерла мать, и он сказал, что так у него каждый день, вот уже восемь лет. У меня

внутри все болит, и печаль сама копится, как будто я ее вдыхаю. Плачу, рыдаю, но тоска не проходит, друг мой! не могу я от нее избавиться. Когда сердце у меня переполняется, я успокаиваюсь, устаю, но только на короткое время, потом опять появляется чувство как будто у меня сегодня умерла мать... Я как сейчас помню: он раскрыл зонтик, дождь льется сквозь проволоку, зонтик без ткани, что ему ткань, а собака, открыв рот, глядит на тучу. Так же, как она глядела на меня вчера во сне, — подумал он, убирая с лица рассекренные документы. Чуть позже люди, открывавшие лавки на рынке, увидели в пассаже необычное зрелище: солнце катилось, как бумажный шарик, а пес прыгал, словно забыл про лапы. На самом деле он вообще не ступал на тротуар; голуби следили за его игрой. И они живут, они радуются жизни. У них нет никого, нет дома, а они все равно снова и снова радуются жизни, — добавило то, чего нельзя увидеть, сдвинув в сторону газету, которой была накрыта голова Тошо Занозы. Может ли такое быть, что человек уже целый год мертвый, а никто не видит, что он умер, — думал Миле Пейкуре, ворочаясь в постели, словно паря в воздухе. В то утро девушка с двумя языками — птичьим и рыбьим — снова потеряла плод, и на следующий день, когда он вернулся к обеду, неся нераспроданные газеты для возврата, ее уже не было дома. Днем он увидел у явора Тошо Занозу. Может быть, он умер сегодня; может быть, он умер в прошлом году, — сказал он себе. Во вся-

ком случае, кто-то озаботился напечатать некролог с фотографией, — подумал он, открывая палатку.

(как продлиться)

Он поднял ставню окна, выложил газеты и сел. Никому не убежать от главного, большого, — сказал он себе. Никому не спастись от того, что не видно, — думал он, глядя на некрологи на яворе. Их клеили по ночам. Без разрешения. Были дни, когда новые лепили на старые; на стволе не хватало места; особенно со стороны палатки. Откуда они взяли фотографию Тошо, — недоумевал он на следующий день перед открытием, а когда поднял ставню, Чертик Мой пожаловался, что молоко козы, пасшейся несколько дней у памятника революции, пахнет плесенью. Такое развитие событий могло бы дойти и до Аллеи ветеранов в парке, но уже на следующее утро люди, пришедшие к ларьку, рассказали, что произошло ограбление банка. Уже выяснили, как разбойники проникли в кассу, и строились предположения об именах грабителей, и говорили даже о том, что мозгом операции является именно Антон Печатник; забрал деньги и сбежал из страны. Газеты расхватывали сразу, как только их привозили; Миле Пейкуре заказал двойное количество, но и этого не хватило.

В сообщениях говорилось, что четверо из пяти грабителей были задержаны через восем-

надцать часов после ограбления. После поимки все сознались в преступлении; их уже перевели в следственный изолятор. Он увидел свое имя, напечатанное черными буквами, но сначала подумал, что ошибся, перечитал и снова увидел, что был одним из грабителей. Не задержан только студент Голче на Волче, — сказал Чертик Мой. — Свинтил, пока его не зацапали, — добавил он, глядя на козу, щипавшую цветы в жардиньерке рядом с палаткой. В милиции мне сказали, что украли сто сорок семь, запятая три миллионов динаров, а на первые траты взяли по сто тысяч, — важно сказал он, вертя в руках уздечку. Остальные оставили в тайнике; по двадцать девять и три десятых миллиона на каждого, — прибавил он, уходя. До того, как их поймали, они успели потратить всего две тысячи, — прочитал Миле Пейкуре. Пачка сигарет стоит двести пятьдесят, — сказал он себе, листая газету. В девять тридцать, когда начинается сериал «Любовь по-деревенски», они уже были в условленном месте. Вошли в подвал через боковой вход; взломали висячий замок и пробрались в комнату под хранилищем. Затем пробили потолок с помощью домкрата, лома, зубила и других инструментов. Дырку сделали точно там, где надо; попали прямо к мешкам с деньгами. — Эй, чувак, а знаешь, кто у них главный — спросил Чочо Мерка через окошко ларька. Кто жизнь ни в грош не ставит, — объяснил он, облокотившись на газеты. Когда он станет *президентом*, такого больше не будет, — сказал он. Если

будут красть, то будут красть так, чтобы не поймали. Если не красть, то не красть вообще, — закончил он, убегая за Огарком. Он не отпускал его от себя дальше двадцати метров. Ходил за ним по пятам. — Я знаю, кто это, но не скажу, — крикнул он с другой стороны улицы. Миле Пейкуре разглядывал фотографию одного из воров; его сфотографировали в профиль и анфас. Специально, — подумал он. Чтобы был виден нос как клюв и уши как культи; как будто он с ними выполняет упражнения на брусьях.

Подготовка длилась шесть месяцев.

Дважды они пытались пробить пол хранилища. Первый раз буром проделали отверстие до паркета, а потом стали действовать электродрелью. Дрелью получилось очень шумно, поэтому они попытались использовать домкрат, но перекосило стойку между домкратом и бетонной плитой. В воскресенье они попробовали в третий раз с другой стойкой длиной два метра двадцать, и у них получилось. Распилили арматуру и сделали отверстие шестьдесят на тридцать сантиметров. Самый маленький из них пролез в проем и забрал деньги, а другой отвез их на машине и спрятал в тайнике, — прочитал он. Отверстие было узким; влезть мог только очень худой человек или ребенок. И все равно бы оцарапался. В этом случае ему пришлось переодеться, чтобы скрыть царапины, — решил инспектор Перо Ланский. Поэтому сначала предположили, что он был в рубашке, хотя погода слишком жаркая, не для длинных рукавов.

Один из опрошенных мальчиков заявил, что около восьми часов вечера он видел двух человек на мопеде с пустыми сумками на коленях. Это уже дало представление о времени ограбления и понимание того, что у одного из участников был мопед.

(стоит ли продолжать)

В первые часы после ограбления никто не знал, кто это — иностранцы, приехавшие специально, в таком случае они могли быть уже далеко от города, или же это была местная банда. — Эй, ты, представляешь, нарядились, как на праздник, а работали в трусах, — сказал Часлав Бабачев, заглядывая в окошко. Поскольку другие данные отсутствуют, интересно, какие у них были трусы; с ширинкой или без, — сказал он. Кроме того, на них были перчатки, представляешь, в трусах и перчатках, — добавил он, метнулся между цветочными вазами и исчез за явором. Один из грабителей был в белых кружевных перчатках, — прочитал Миле Пейкуре и вздрогнул. Такой ход, безусловно, имеет смысл, чтобы намекнуть, что в ограблении участвовала женщина, — продолжил он. И хотя они протирали все, к чему прикасались, они не могли не оставить следов, — подумал он. На сигаретах, которые они курили, на персиках, которые они ели, а такие персики есть только в нескольких садах на окраине. На полу в подвале остались сле-

ды. Молодой человек из города накануне заигрывал с девушкой, живущей в соседнем доме. Это заметили ее родители. И заинтересовались, что это за человек. Именно его заметили в тот вечер и возле банка. Один небезразличный гражданин, не спавший после полуночи, увидел в переулке мопед «Томос», такой же, какой видел мальчик. На мотоциклах этой марки ездит полиция в Сирии и Алжире, — подумал Миле Пейкуре. В городе их всего несколько. Один где-то возле церкви и один или два в окрестностях. Сразу можно проверить всех владельцев таких мопедов. И это вывело их на пригород. В том же направлении вел и другой след: джип муниципалитета. Я знаю водителя, — сказал Чертик Мой, вернувшись с Аллеи героев. Джип обычно стоял у дома водителя; во время ограбления его видели в центре города. — Кто был за рулем в ту ночь? — спросил он, удерживая козу подальше от шнурков своих кроссовок. Она не ответила; опросталась горошком под явором и поспешила к бегониям.

Через сутки после ограбления у следователей уже был список подозреваемых, но они не хотели рисковать. Почему, — подумал Миле Пейкуре, и тут же прочитал: из-за денег и гражданских прав. Кроме того, у двоих из них было оружие. Их задержали поздно вечером после того, как все риски были устранены. Повязали одного за другим, при этом никто из них не знал об аресте остальных. И все до единого признались, что совершили ограбление, — прочитал он.

Тайник, в котором нашли деньги, был великолепно замаскирован, поэтому без посторонней помощи обнаружить его было практически невозможно, — заключил я, еще не дойдя до ларька. Когда следователи подняли крышку, они были удивлены увиденным. На стенки тайника были наклеены портреты Маркса. Когда кто-то из милиционеров попытался вытащить мешок с деньгами, то не смог его удержать, и мешок упал обратно. Это был самый тяжелый мешок, который он когда-либо поднимал. Деньги были упакованы, как кирпичи. Так говорит преподаватель по общенародной обороне, — добавил я, разглядывая газеты. Он сказал, что их главной ошибкой были перчатки. Один из них забыл их снять, когда вышел из подвала. Его видели на улице в белых перчатках. В доме рядом с банком живут военные, и среди них всегда есть кто-нибудь начеку. Перчатки обнаружили в аптечке первой помощи в джипе. Я читал в газете. Угадай, о каких перчатках идет речь, — спросил я, входя в ларек. Они исчезли с берега в день трагедии с лодкой. Миле Пейкуре смотрит на меня как зачарованный. Ее перчатки. Представляешь, какая наглость. Как ты думаешь, может такое быть, — спросил я. Не знаю, — сказал Миле Пейкуре. Может, — крикнул Чертик Мой, как будто сидевший на корточках под прилавком. Это не преувеличение, — добавил он, подтягивая козу к кашпо с петуниями. После ограбления он попросил отгул, пожаловался, что устал и ушел с работы пораньше, — сказал я, и мы замолчали, как

будто паря в воздухе между дверью и окном. Подавая через окошко несколько пачек сигарет и возвращая сдачу через окно, Миле Пейкуре сказал, что каждый сам шьет себе шапку, но все равно ему жалко кума: жена беременна, у них будет ребенок, а он его не увидит, будет сидеть в тюрьме.

Потом, успокоившись, голос немного изменился и аккуратно подсадил Маргариту на трос канатной дороги, как нарисованного человечка из мультфильма «Линия». Драган Галун идет впереди, она за ним; идет не в ногу, теряет равновесие, садится верхом на канат, переворачивается, платье у нее задирается, и она падает, не успев дойти до кустов. — И это счастье, что упала, случилась бы трагедия, если бы прошла дальше, — говорит он. Глядя на нее, всю расхристанную и стоящую на коленях, я сказал, если помнишь: Обнимаю вас нежно и рассеяннo! — Не валяй дурака — ответила она и растянулась на траве. И тогда я сказал: ладно, буду валять умную, и она покатила со смеху. Он отошел к краю облака, а мы с тобой стали прикладывать ей на царапины подорожник. Мы клали листья ей на колено, а она перетаскивала их все выше и выше. Добравшись до нужного места, он вернулся с мотоциклом, посадил ее сзади, и они уехали в неизвестном направлении. Мы искали их в поле, но следов колес не было. Он привязал ветку к брызговику, та волочилась сзади по пыли и все стерлось. Когда они вернулись в деревню, узоры с платья Маргариты отпечатались у нее на бедрах, —

рассказывает он, подавая в окошко два комикса про Загора из Золотой серии. — Не знаю, нужно ли углубляться дальше, — сказал он. Не знаю, помнишь ли ты поле с огурцами, мимо которого мы проходили. Перед тележкой, которую я толкал, мы видели следы в пыли. У Драгана Галуна один раз было четыре пальца на одной ноге, шесть на другой, а в следующий раз три на одной и три на другой. Да. Иногда видно было только большой палец левой и мизинец правой ноги. Я не знаю, как он это делает, но он делает это, когда хочет и как хочет. Я думаю, что он не мог бы ходить по канату, если бы у него были ноги нормального человека. Следы его ног похожи на птичьи. Может быть, он и есть птица с призрачными крыльями; он сбежит из тюрьмы, если там есть окно, — сказал он. Решетки для него не препятствия. Он может убежать и от жизни, если ему покажется, что на другой стороне лучше. Потом он вспомнил мотоцикл, на котором Драган летал сквозь мух; шляпу, которую принес ему мой отец, когда нес сети для ловли рыбы; как он ходил на руках по стерне за деревней; как залезал на столбы во вторник, и все это, как сказала бы Меглена, только для того, чтобы стать человеком. Я думаю, он очень хочет быть человеком. Может быть, поэтому он ограбил банк. И не просто ограбил, но ограбил в ее перчатках, — сказал он, паря где-то надо мной. Но и он такой же, как и все люди. Потому что он человек. И еще потому, что каждый человек немного похож на всех людей. Я бы хотел его про-

стить, потому что каждый раз, когда ты прощаешь, ты получаешь грамм души того, кого простил, но, к сожалению, он теряет этот грамм, а я несмотря ни на что люблю его. Когда у тебя нет ни грамма души, у тебя нет ничего своего, человеческого. Если человек растратит все одиннадцать граммов, он уже не человек, потому что человек — это не то, что видно, а то, что ощущается, это карта в нулевой точке разума. А он никогда не осознавал этого. Думал, что жизнь — это то, что на поверхности, — закончил он.

(стоит ли идти дальше)

Несколько дней назад я прочитал текст о женщине, родившейся с недоразвитой ладонью, без большого и указательного пальцев, — продолжил он на следующий день. У меня было ощущение, что он не переставал говорить. — После ампутации руки женщина почувствовала все пять пальцев, хотя у нее никогда столько не было, — сказал он. Мозг не доверяет опыту. Мозг знает, что у нас пять пальцев на каждой руке, а не три или четыре. И это еще не все — фантомные пальцы могут фантомно вырасти. На данный момент наука еще не уверена, что вызывает эти ощущения, но я знаю — мозг содержит встроенную память, идеальный образ здорового, действующего тела, и этот образ проецируется на наше существующее тело и сознание.

Я знаю, что люди, потерявшие ступню, чувствуют, что она существует; может, чуть слабее, но реально. Иногда чувствуешь даже настоящую боль, — говорит он. В голове у нас есть схема тела, и поэтому мозг посылает информацию конечностям независимо от того, существуют они или нет. Такое ощущение бывает и в случае удаленного глаза, удаленного зуба, удаленной груди. Если можно ощутить ногу, которой больше нет, почему бы не ощутить полет, которого не испытывал. Если человек думает, что у него есть нога, почему бы ему не подумать, что у него есть крылья и он летает, — сказал он. Что себе представишь, то и будет. В нас входят чужие сны, и мы начинаем жить в них, не зная, живет ли кто-нибудь где-нибудь в наших снах.

Когда я вернулся домой, то после всего услышанного я долго летал, как тень; свой ампутированный полет я ощущал, как божественный полет над городом. Я слышал движение воздуха, чувствовал волну, овевающую мне грудь. Паря в небе, я смотрел на любовников в виноградниках; я видел автобус немца, застрявший в каком-то забытом расписании без остановок; наблюдал за дикими свиньями в Мелци; видел семнадцать черепов, как семнадцать фонарей на развалинах; смотрел на свежую могилу бабушки Энки и могилу отца, заросшую одуванчиками; видел Драгана Галуна, идущего по канатной дороге, при том, что трос давным-давно убрали вместе со столбами; их растащили, чтобы настроить

домики по берегам заливов; смотрел на воду в озере, которая плещется, как в бассейне; глядел на дорогу, бегущую вдоль берега; смотрел на спящий как ни в чем не бывало город; видел Лесси под навесом. На рассвете я закончил текст о вине, усиливающем сексуальное желание у женщин, и не услышал, как он завизжал. Я закончил текст рецептом: бутылка красного вина, две капли апельсинового масла, одна капля эфирного масла корицы и одна капля масла мускатного ореха. Все хорошо перемешать, дать сутки постоять, и после этого напиток готов удивить любимого человека. Когда я вышел на террасу, чтобы отдохнуть, я увидел мертвого Лесси лежащего в грязи. Его перепугали молнии; он умер, тычась в стену от страха. Перед рассветом я положил его на дверцу шкафа, разваливавшегося во дворе, и отнес на кладбище. Я зарыл его под дорогой, рядом со знаком *обгон запрещен*. На обратном пути я пошел по своим следам, отпечатавшимся в грязи. Может быть, такой же след останется и после нас, — подумал я. Постоял немного у сливы, а потом, прежде чем закрыть дверь, увидел, как Ева Мрак, прыгая по следам в грязи, идет в дом девушки, бросившей учиться машинописи и посвятившей себя плетению кружев с птицами, рыбами и львами.

В то время имя Мадам Мрак было на устах у всего города не только потому, что она была нежной, как мыльный пузырь, с тонкой сеткой прожилок по всему телу, с блестящей кожей и синими

глазами, в которых отражалась вся ее душа, с телом, как хрустальная ваза, в которой качаются бутоны гладиолусов, но еще и поскольку у нее был единственный магазин пуговиц, все приходили к ней, чтобы купить приклад для нового костюма, пиджака или пальто. Прежде чем отнести ткань портному, все сначала несли ее Еве, чтобы она подобрала им подходящие пуговицы. И никто никогда на пуговицы не жаловался. Да и что было жаловаться, ведь если пуговица оторвется или потеряется, у нее всегда можно было найти другие, точно такие же, как утраченные, не думая, где и как. Только увидят, что в петле чего-то не хватает, и сразу же идут в лавку, чтобы им подыскали замену. У Евы Мрак был специальный ящик, в котором она хранила по пакетику всех пуговиц, когда-либо продававшихся в магазине. Люди вперяли взгляд сквозь петли на рубашке, пока она рылась в коробках. — Ничто не идеально. Ни петли, ни пуговицы, — говорила она, подрагивая грудями. Когда люди это видели, у них темнело в глазах. И у мужчин, и у женщин. Она могла, если бы набрала побольше воздуха, своими грудями разорвать все петли, а соски бы продолжали колыхаться под блузкой. Они были как самые красивые пуговицы для пальто во всем магазине. Вообще-то они были как две склеенные вместе пуговицы; одна больше, другая меньше. Одна темнее, другая светлее.

Однажды она сделала это у меня на глазах.

Я пришел купить пуговицы для тети Танки.

Она, сперва порывшись в ящиках, начала искать в коробках под стеклом, но вдруг передумала и, когда она выпрямилась, в меня полетели пуговицы.

Я не знал, защищаться ли руками или просто моргать глазами.

Но на самом деле и одно, и другое было бы напрасно, меня захлестнула волна страсти, и я бы не смог уберечься от грудей, хлопавших меня по щекам.

(ни застешки, ни одежды)

Когда она собрала грудь в блузку, я стоял, совершенно ошарашенный; я не успел даже испугаться; я не знал, зачем пришел и пришел ли вообще.

Я смог вспомнить только про Дуле Доспартоса; Еву Мрак привез Ицо Огарок, когда работал прорабом в Жмеринке, это между Краковом и Одессой. После восьми лет брака они поняли, что не подходят друг другу, поэтому она развелась с ним, забрав половину дома и одну из лавок на первом этаже. Чтобы больше не видеть его ни мертвым, ни живым, она проделала проход в задней части лавки и через него проходила в свою часть дома. По тем же ступенькам пробирались все, кого она привечала. В парикмахерской говорили, что она грудями орудовала, словно пальцами.

Я слушал, и уши у меня горели огнем.

Выйдя из мужской парикмахерской, я не узнал свое отражение в витрине: Дуле Доспартос, интимный друг Часлава Бабачева, обкорнал меня, как капусту!

Это то, что видно.

В том, что существует невидимо, Ева успокоила груди под блузкой, но я уже был очарован зрелищем и потом видел только это и только после этого все остальное, если добирался чуть выше или чуть ниже. Спустия столько времени, проведенного с вином, грудь Евы Мрак все еще бьет меня по щекам.

В качестве напоминания или в качестве предупреждения, я не знаю.

Через несколько часов она вышла из дома девушки с кружевом, а я закончил текст об увеличении груди при помощи диеты из зеленых яблок и вина. Интересно, знает ли она о зависимости между употреблением вина и размером груди, или у нее груди пухнут спонтанно, от скуки, думал я, доставая листок из машинки.

Прежде чем моя мать вошла в комнату, конверт был уже заклеен, адрес написан; она бросит его в почтовый ящик рядом с пуговичным магазином.

Она опять пойдет спрашивать, когда можно будет перевезти тело отца в город, подумал я, глядя, как она поворачивает за угол и скрывается за забором.

(пауза по личным причинам)

Через несколько лет, то есть через неизвестно сколько лет после того, как она купила место на кладбище возле могил дедушки Георгия и бабушки Тодоры, после того, как она получила несколько отказов от архиерейского викария, маме наконец-то дали разрешение перенести папу в город. Могильщики молча перерезали корневища, зарывались в землю, пядь за пядью спускались в яму, и, наконец, стали появляться кости; они белели на дне как консервные банки. Срыли землю, отвалили ее набок мотыгами и стали собирать кости начиная с головы книзу. Сначала вынули череп, положили его на край ямы, а потом по порядку собрали все, что было в могиле. Когда они закончили, две женщины, шепча молитвы, принялись омыwać кости; сначала водой, а потом вином. Их протирают и укладывают в мешок. Сверху положили череп, а на него василек и бархатцы.

Один из родственников завязал мешок и отдал мне.

Я взял папу, поднял и медленно, чтобы не гроыхать костями по дороге и не распугать бабочек, пошел к церкви. Во мне скрипел сверчок. Что остается от человека, думал я, идя по кладбищу, несколько костей, вроде прутьев; я волочил ноги по траве, чтобы мои шаги не отдавались в останках, но отец снова гремел, шуршал, как оползень. Полегче, — сказал сверчок, — поломаешь! Я согнулся, ибо дверь давно

уже была для меня низка, и вошел в церковь. Отца я оставил на полу рядом с клиросом. Поп Арчи, приемник попа Шако, прочитал молитву, и это была его последняя служба в церкви. Вошли два инспектора и забрали его вместе с кадилом. Глядя, как его тащат, а он волочит ноги, мы с папой сели в автобус. Немец до самого города не открыл рта. Он был просто не похож на себя. Никогда еще не вез он такого человека, как папа; он никогда не вез коллегу, который гремит на поворотах. И пассажиров, которые молчат, будто языки прикусили. Включает дворники, чтобы согнать сверчка с лобового стекла. Мы всю ночь бдели над мешком. В той же комнате, из которой мы его вынесли. В воскресенье, около полудня, архиерейский викарий провел отпевание в церкви, а потом мы пошли на кладбище. Я поставил сумку на могильный холм, а один из родственников, маленького роста, прыгнул в могилу и медленно, одну за другой, разложил кости как следует. Когда он их выкладывал, я на мгновение подумал, что он похож на ребенка, который в яме играет в камешки. Священник взял какую-то табличку, написал на ней *Ис. Хс. Ника*, поцеловал, отдал родственнику в могиле, и тот положил ее на череп. Он перекрестился, протянул руку, я его вытащил, он вылез, а священник окропил кости елеем, взял лопату и с четырех сторон набросал немного земли на то, что когда-то было отцом. Передал лопату другому, перекрестился, отошел в сторону, и куча земли начала скапываться в яму. Пауза по личным причинам, — сказал

сверчок, гоняясь около могилы за бабочкой. Потом земля снова застучала по костям, а я вижу, как папа подключает кабель от соседского дома, чтобы в доме был свет, как копает канаву к фундаменту, чтобы провести на кухню воду; вижу, как он идет по переулку, неся купленное по дороге мясо; вижу, как он пытается сколотить ступеньки перед дверью, а доски постоянно сдвигаются, никак не ложась как надо; вижу, как он на площадке над комнатами делает сушилку для табака, какой нет ни у кого; сушилку, напоминающую домик с крышей из полиэтиленовой пленки, который солнце освещает со всех сторон; вижу, как он вскапывает грядки за домом, чтобы посадить лук и баклажаны; вижу большой лист в клетку, а на нем рисует каменный дом, который он хочет построить в деревне; вижу, как он уходит, закрывая калитку на кольцо, висящее на столбе, а земля сыпется со всех сторон, заполняя могилу. Через некоторое время священник взял кадило, намотал цепочку на запястье, забрал деньги и ушел.

Я поставил крест на место и увидел лучи солнца на могиле; как светлые волосы, вылезающие из пучка; увидел тень перед собой, крошечную и сгорбленную, как тень отца; увидел тень позади себя, длинную и прозрачную, как дым; увидел весну, исчезающую за памятниками; увидел сверчка, скачущего над крестами, и вдруг понял, что, паря в одной из двух форм материи, я не вспомнил о Миле Пейкуре, а ведь он собирался прийти на похороны.

(слияние времен)

В то время к его ларьку начал приходить Мутимир, он же Муто, внук попа Арчи. Он отсидел положенный срок, полученный за мошенничество и другие преступления, и теперь был свободен, как птица. Волос у него больше не было, но ум остался таким же. Мальчиком он продавал четки, крестики, календари, ладан и порнографические журналы, а потом рыболовные сети, фирменные сигареты, нюхательный табак, сыр без молока и баклажанную икру без баклажан. За восемь лет, работая днем и ночью, он достиг пика своей мошеннической карьеры. А именно, с благословения попа Аргира, лишенного сана после скандала с фальшивыми банкнотами, которые он перед иконами обменивал на настоящие деньги, он напечатал большим тиражом специальный туристический путеводитель, богато иллюстрированный, очень красивый и самый востребованный на рынке. В путеводителе была информация о всех городах и деревнях, каждом исцеляющем камне, каждой чудодейственной воде, о множестве привидений и теней, о всех волшебных крестах и, наконец, о гостинице возле дома попа Арчи. Из всего, что было описано в путеводителе, единственной точной информацией был адрес гостиницы «дона Цанде», сына Аргира, преемника попа Шако. Они договорились, что деньги, полученные от постояльцев в гостинице, будут делиться пополам: сколько ему, столько и Цан-

де, — говорит Перо Ланский. Что-то здесь не так, — инстинктивно реагирует Мутимир, приглаживая вихор за ухом. Кто заработал на правде, чтобы тут перед нами из себя строить, — добавляет он, жадно высасывая одну за другой бутылки, которые потом расставляет на приступке позади ларька. Если кто докажет, что я не прав, то пусть задерет нос, причем бесплатно! Но к Перо Ланскому это не относится! Он должен заплатить, — кричит он, поворачиваясь к явору. Ты водил людей к башне, к мосту, в котором замурована женщина, к скале, с которой капает лечебная роса, к дереву, из которого течет хмельное сусло, к источнику, от воды которого исцеляются слепые и увечные, и наконец, к стене с отпечатком копыт Буцефала, — говорит Перо Ланский. А если замечал кого-то, кого видел раньше, то старался вспомнить все, что говорил прежде, чтобы повторить сказанное, как будто это правда. Повторяя месяцами одно и то же, ты сам начал верить в то, что говорил. И про сусло, что течет с дуба, и про воду, которая исцеляет бесплодие у женщин, и про колодец, в котором будущее видится как прошлое. Туристы оставались довольны увиденным, а ты доволен тем, что выдумал как экскурсовод. В конце концов все они оказывались в гостинице Цанде. С опустошенными до предела карманами.

Прислонившись к двери, Миле Пейкуре слушал эту болтовню издалека, полагая, что Бог и природа находятся не вовне или над вещами, а в них

самих. Его слушал и Перо Ланский, инспектор полиции, поймавший Мутимира на месте преступления; тот самый, который раскрыл дело об ограблении банка. Видя, что Мутимир уходит, как только приходит сыщик, инспектор снова рассказывает то, что и так всем известно: что, перед заходом солнца, переодевшись туристами, они приехали на место что один из группы встал на колени, посмотрел в воду, а затем радостно стал приглаживать волосы, крутить головой, потрясенный увиденным. Якобы он видел будущее как прошлое, и все было прекрасно. В рамках акции, говорит Перо Ланский, я, конечно, загримированный, попросил Мутимира повторить ритуал и для меня, чтобы и я посмотрел, набрался смелости; ведь любому страшно вато увидеть будущее как прошлое, сказал я. Немного поколебавшись, он встал на колени, оперся на руки, навис над колодцем и в тот же миг увидел все, что случится в будущем; увидел наручники, решетку на окне и так далее. Даже и обмылок, выскользнувший из рук в бане, — сказал он. И добавил, что ему придется наклониться, чтобы поднять его. Он знал, что меня не проведешь, что я лучший в округе, но и я знал и все время помнил, что Мутимир Веревка не был бы внуком Арчи провидца, если бы не попытался сбежать с места преступления. В других условиях он бы сумел это сделать, но в данном случае наши люди следили за каждым его шагом. Он попытался убежать, но взял вправо, свалился с моста и упал в пропасть. Мы вытащили

его на следующий день, а потом мы прошли по следам обманутых туристов, и нам удалось спуститься в город. После этого, залечив нос и лоб, он оказался за решеткой. А тюрьма это тебе не шутка; и дело не только в мыле. Он три раза подавал на условно-досрочное освобождение. Поскольку дал признательные показания, хотя мог и не признаваться. И надеялся, что выйдет, даже когда ему отказали в третий раз. Если бы я вел его дело, он бы у меня, как соловей запел, признался бы и в том, что было и чего не было, а потом, когда все закончилось, я бы констатировал: после стольких лет бессмысленной хренотени сегодня, в миг, который становится прошедшим, я должен отметить, что этот засранец, внук ясновидящего Арчи отсидел только пять там, где должен был остаться на десять. А последний год провел в одной камере с теми, кто грабанул банк в прошлом году, — сказал инспектор, выхлебал свою бутылку и ушел.

Во всяком случае, придя к ларьку, Мутимир сначала обругал его: и мать его, и семейство, и всех родственников до седьмого колена, и самого Перо Ланского, ощипанного петуха из Мариово, а лишь потом рассказал о тюрьме. Он обожал Драгана Галлуна. Даже после того, как тот несколько раз упал вниз головой, он снова пробовал ходить по стене в камере, огибая окно. В то время я уже учился в столице, поэтому эти истории слушал, когда приезжал на каникулы. Там все было по-прежнему, действовали все те же персонажи, что и раньше; Ицо Огарок

с зажигалкой в руке; Чочо Мерка, обещавший, что арестует всех, кто голосовал за него, чтобы в следующий раз не голосовали против него; Эко Эй в брезентовом плаще, застегнутом на крышки от лимонадных бутылок; Часлав Бабачев, обладающий даром знания обеих сторон человеческой природы; Чертик Мой с козой, с которой он обращался как с пчелой. Когда в ларьке кроме нас никого не было, Миле Пейкуре рассказывал, что ходит домой к Драгану Галуно, что приносит еду, деньги и одежду; а малышу — шоколадки с картинками. Я смотрю, как тот осторожно их открывает, нюхает и наклеивает картинки в альбом, — говорит он. Если приклеит криво, то отрывает и приклеивает снова. Но я думаю, что делаю недостаточно для крестного отца. Как человек я делаю все, что могу. В другой раз, после, когда я уже защитил диплом, он сказал, что получил официальное уведомление о своей Лулу Уайт, девушке, говорящей на языке птиц и на языке рыб; ее нашли мертвой на Транссибирской магистрали недалеко от Владивостока. После известия об этой трагедии, — сказал он, — мне снятся только поезда; я никак не могу оторваться от земли. Как будто чтобы утешить его, признаюсь, что некоторое время назад, паря без причины, я ударился о дымовую трубу винзавода и с тех пор мне совсем не хочется летать, я вспоминаю то, что прошло, и удивляюсь тому, что многое повторяется, происходит снова, и я не сразу понимаю, так ли это на самом деле, или мне это просто кажется.

Вообще-то кажущееся ярче того, что случается в реальности; я живу в страхе, что возможно то, что я сделал, на самом деле не сделано, и меня ужасает мысль, что я никогда этого не сделаю. Например, я думаю, что может быть на самом деле не закончил университет, а в последнее время добавили столько новых предметов, что за всю жизнь никто не сможет сдать по ним экзамены. Или, например, я обманываю себя, считая, что без меня нельзя представить мир, а через мгновение думаю, что мир вообще не существует. Поэты лгут для удовольствия, торговцы для наживы, а остальные просто ради самой лжи, — говорит Миле Пейкуре, и медленно, тихо, потому что я толкаю его коляску, не включая мотор, мы возвращаемся в прошлое, проезжая мимо памятника революции. Месяц освещает скульптуру с кулаками, погруженными в темноту. Поливальная машина с фырканием смывает окурки край мостовой. Нищие могут думать только о личной выгоде, а талантливые люди всегда думают об общем будущем, — говорит он, глядя на памятник. Заводит мотоцикл и едет вокруг памятника. Ты знаешь, что такое революция? — спрашивает он. Революция — это состояние, в котором человек становится свиньей, бьет посуду, наполняет свинарник навозом, поджигает дом; рушит каменный дом, чтобы построить картонный домик. Я не могу сказать, что это мне нравится на все сто, но звучит это хорошо, — говорит он перед тем, как поехать вверх по склону. В конце концов, — кричит он, — все

сводится к личному счастью. Ты либо счастлив, либо несчастен. Третьего не дано.

(горизонтальная дегустация)

Во дворе мигает лампа, свисающая с навеса. Миле Пейкуре приносит красное вино, копченое мясо и сыр и раскладывает на столике рядом с дверью.

— Когда нет женской руки, — говорит он, — мужская ценится больше, чем она того заслуживает. На стене внизу все еще остались отпечатки ладоней Лулу с тех пор, когда мы валялись на полу, — говорит он, наполняя стаканы. — Есть женщины, которые помогают жить, не превращая жизнь в судьбу, — сказал он, толкая графином книгу, которую читал. — Я так понял, что ты принял предложение винзавода, — сказал он.

Я слабо оправдываюсь, что все время в разъездах, что некогда было к нему зайти. На самом деле я дважды искал его в ларьке; один раз, когда вернулся после долгого пребывания за границей, и второй раз, когда хотел пригласить его на помолвку. В первый раз он отправился на воды в Голубую лагуну Исландии, а во второй раз на палатке висело объявление, что он уехал во Владивосток. Хотя у него не было паспорта, и он никогда за ним не обращался, раз в год на стекло изнутри приклеивали листок с извещением, что он уехал в Гонолулу,

Таити, Мадагаскар, Гаити, Мачу-Пикчу, Кубу или Трансильванию.

— Он может рассказывать о песне рыб в Море Тишины, и никто не будет спрашивать, был он на Луне или не был, — сказала лампа. — Музыка тишины — это песня ангелов. Он мог бы поехать в Голливуд, к тому, кто утверждает, что вода оживляет насекомых, а биологи уже изучают действие, которое она оказывает на человека, и вырастить дома то, что он хочет, самостоятельно, или поехать в Болливуд к целителю, который помогает отрастить все, что нужно, с помощью коровьих лепешек, — замигала лампа, — и вернуться с точно такой же левой ногой, как правая!

— Твоя мама сказала мне, — говорит Миле Пейкуре, — что ты делаешь вино, которое получит медаль.

Я ничего не сказал, только склонил голову. В то время моя мать покрывала дом шифером, и Миле Пейкуре помогал ей платить за шифер табаком.

— Что это за голубое вино? — спросил он.

— Такое вино делал Драган Галун. Я спросил его, из чего оно; он сказал, что это секрет. Однажды он признался, что делает его из белого вина, но так, как делают красное. Драган сказал мне, что сделает вино с запахом Маргаритки Брюхозадовой, но потом произошел этот случай с банком, и планам не суждено было сбыться.

Я сказал Миле, что цвет придает вещество, находящееся в коже винограда. Кроме того,

в вино добавляют пищевой краситель, экстракт травы, которая называется вайда.

— Во всяком случае, это вино слаще, чем обычное, — говорю я.

— Я признаю только красное, — говорит он. — И кстати, как определить, какое вино лучше? Вино есть вино, но не всякое вино нравится всем. В деревне делали вино, которое можно было нести в платке. И говорили, что это лучшее вино в мире, — добавил он.

— Я люблю вина с фруктовым вкусом, — говорю я. — Мой любимый сорт — «мерло»; дает богатое вино, сложное, с хорошим телом.

— Что ты делаешь на Комбинате, — спрашивает он, засучивая рукава. На левом предплечье он вытатуировал жаворонка — трясохвоста белонного, чик-чирик, тюрлю-лю, курлы, эй! Я посмотрел на татуировку и вспомнил огурцы на огороде попа Шако.

— Я работаю энологом, — сказал я, стараясь не расхохотаться от того, что вижу, — специалистом по вину. Не хочу хвастаться, но, по словам Роберта Паркера, я уже вхожу в десятку лучших энологов Европы и в пятерку лучших винных консультантов мира.

— Bravo, черт побери, вот это здорово! А что ты можешь сказать про наши вина?

— Наши вина сложно сравнивать; их делают из местного винограда, в них есть фруктовые ноты и своя индивидуальность. Не хотелось бы сравни-

вать их с другими, но если бы пришлось, то оценка была бы девяносто пять баллов из ста возможных, — говорю я.

— Значит, нам не хватает всего пятерки, — говорит Миле Пейкуре.

— Наши вина прогрессируют, — говорю я.

— Можно ли сказать, что они прогрессируют быстрее нас, — говорит он, снимая шляпу, которую начал носить несколько месяцев назад. Я впервые вижу, что он облысел, причем весьма странным образом. Его голова похожа на мороженое в рожке. Шарик виден наполовину. Другая половина скрыта в рожке. Он укорачивает только бакенбарды и волосы ниже линии под ушами, когда они висят, как шарф, на шее.

— Как распознать хорошее вино? — спрашивает он.

— Очень просто, — отвечаю я. — Его поставят на стол, и ты пальцами щелкнуть не успеешь, как его уже не будет. В таком случае неважно, что ты говоришь о вине. Вино говорит само за себя.

— Это точно, — сказал он и принес новый кувшин.

— Вино содержит пятьсот разных веществ, и каждое из них влияет на вкус, аромат и структуру напитка, — продолжил я. — Есть винные эксперты, которые не могут с уверенностью выявить более трех ингредиентов, хотя в своих обзорах они указывают не менее шести. Два разных энолога могут обнаружить совершенно противоположные ингредиенты в одном и том же вине. Один откроет для себя вкус

красной розы, лаванды, герани, сушеных цветов гибискуса, сушеной клюквы, ягодного варенья, манго с кожурой, красной сливы, бадьяна, а другой корицы, абрикоса, тутовника, груши, смеси ежевики и дюжины других самых неожиданных ингредиентов. Когда пьешь вино, ты как будто пьешь историю народа, как будто читаешь книгу о нем.

— Хорошо, — сказал он, наполняя стаканы. — Если так, — добавил он, — скажи что-нибудь о том вине, которое пьем мы.

— Цвет интенсивный, вкус клубничного или малинового варенья, — сказал я после первого глотка. — Отличный цвет, темно-красный; запах многослойный и привлекательный, с ароматами дыма, кофе, шоколада и ванили, — добавил я, сделав второй глоток. — Вкус дополнен оттенками белого перца и листьев черники. Тело мягкое, фруктовое и сочное, а послевкусие полное и бархатистое. Великолепное вино, — закончил я и допил остальное.

— Браво, — сказала лампочка и перегорела.

Когда я поставил стакан на стол, Миле Пейкуре запел: *Там родина, дом и свет Божьего дня, я помню, а ты позабыла меня. Там мама живет, там друзья и родня, я помню, а ты позабыла меня... Не плачь, мать-старушка, судьбину кланя, умру я, и все позабудут меня.* Жизнь, чтоб ей пусто было. Я допускаю, что нас могут предать. Но я не хочу, чтобы нас жалели, — сказал он и снова наполнил стаканы. — Я не могу смириться с тем, что

то, что хранится в мозгу, не может продолжать действовать и потом. Я не согласен с тем, что наша сущность не может жить без нас. Или, как сказал бы поп Шако, смерть — это дверь, а не конечная цель. Давай причастимся — сказал он и залпом выпил вино. — В одной газете, которую я читал в среду, обсуждался вопрос, являются ли дегустаторы вин непонятыми гениями или просто людьми, которые хотят немного, извини за выражение, развести людей на бабки. И мы никогда не знаем наверняка, это одно или другое. Но несмотря ни на что, я тебе верю. Я так понял, если, конечно, я понял правильно, вы пьете, а клиенты платят за то, чтобы вы им сказали, что пить. Я плачу деньги, чтобы пить, а ты пьешь, чтобы тебе платили деньги, — сказал Миле Пейкуре. — А вино это Драгана Галуна. Спасибо за оценку.

(только обычная белизна)

— Он будет рад, если узнает, — добавил он, ввернул новую лампочку и сменил тему, заговорив о малыше, которого он недавно возил в деревню. — Драган Галун сказал, чтобы мы окрестили его там, в церкви, и я исполнил его желание. Его крестил поп Доно. Приехал из города специально для нас. Я послал Драгану в тюрьму фотографию, — сказал он. — Ну, не важно, я про другое хотел сказать, про малого. Когда ему было пять лет, мать взяла его с собой

к отцу на свидание. Кто знает, что там говорил наш дурачок; но вернувшись, его сын постоянно смотрел в небо. Через некоторое время я узнал от крестной, что именно сказал ему Драган, и думаю, что я понял, что происходит с малышом, но все-таки почему-то не до конца уверен, прав ли я, — сказал Миле. — Драган наговорил ему, что может сделать все, что захочет; изменить мир, пройти по воде, перевернуть корабль, остановить поезд. «Когда-нибудь, сказал он, — я отведу тебя в парк. Мы сядем на скамейку рядом с кассой, подождем, когда придет много детей и, когда они придут, я куплю билет на детский поезд, ты сядешь в вагон, а я схвачу паровоз за трубу и отпущу его только тогда, когда ты скажешь мне отпустить», — сказал он. Малыш так смеялся, что охранник три раза предупреждал их, что пора заканчивать свидание, а потом Драган Галун закричал: «Скажи, когда захочешь, чтобы я его отпустил!» Она сказала, что малыш был в восторге. Он думал, что ни у кого нет такого сильного отца. И сказал: «Папа, отпускай!» И поезд как будто поехал, малый замахал ручонкой, Драган засвистел как паровоз, и тут из его глаз выкатились две слезинки; охранник сзади схватил Драгана за куртку и потащил в камеру, а мальчик кричал, чтобы его отпустили — только его отец может остановить поезд, потому что он может все: может снять луну с неба, усыпить голубей, может, если захочет, поймать рукой летящий в небе самолет... У ребенка сейчас есть только то, что есть. Над городом летают

самолеты, а отца нет, и он не приезжает их ловить, — сказал Миле Пейкуре.

Когда время начинает ускоряться, непонятно, насколько оно ушло вперед и насколько оно отлетело назад. Иногда события сливаются в линию, а иногда распадаются на отдельные точки, — добавил он, провозжая меня до дверей.

Через несколько месяцев Миле Пейкуре пошел отнести ребенку шоколадку с наклейками

Малыш бежал через улицу, глядя на небо.

Он не успел добежать до тротуара, его сбил один идиот из соседнего городка.

(еще немного обычной белизны)

Возвращаясь из поездки, не помню точно, с Дюссельдорфской или Веронской винной ярмарки, но это неважно, я взял чемодан, купил газету, развернул, ожидая такси, и случайно увидел текст об ограблении банка. Журналист напомнил читателям о том, что произошло много лет назад. На фотографии рядом с петухом на плетне был виден мужчина с бородой, как у Маркса периода написания им «Критики Готской программы». В программе, если не ошибаюсь, Маркс писал, что «труд не есть источник всякого богатства».

Так вот, в статье собеседник журналиста утверждал, что банк был ограблен в знак протеста против

неправильного устройства общества: «Мы хотели привлечь внимание к голодным. Я и сейчас считаю, что лучше всего было бы раздать взятые в банке деньги бедным», — говорит спустя столько времени организатор кражи. Он признается, что они продумывали все детали, что они рисковали жизнью, но были готовы на все, и что лично он много потерял, но только в материальном смысле. Его приняли на работу в муниципалитет как внука погибшего бойца, а он на казенном джипе отвез деньги в тайник. Как человек у власти, пусть даже всего лишь водитель служебного автомобиля, он не мог видеть, как из-за просроченной задолженности у крестьян описывают имущество, а полицейские бьют женщин и детей во дворах. Говорит, что именно это возмущало его.

— Ограбление банка не было для нас грабежом, — сказал он. — Это народные деньги, — добавил он. — После ограбления я возил сыщиков на том же джипе, на котором отвезли деньги в тайник, мы ездили и искали грабителей. Арестовали всех воров в районе. Даже сегодня я не понимаю, как нас нашли, — признается он. — Наверное, помогли перчатки, которые лежали в аптечке в джипе.

Газета пишет, что из-за нарушений распорядка он половину срока провел в одиночной камере.

— Мне было очень одиноко и очень тяжело, — сказал он. — И вообще, приятного там мало. Мне запретили переписку, не разрешали свидания с же-

ной, запретили все. Я годами находился в изоляции, совсем как осужденные за убийство, — сказал он.

Вдобавок ко всему, пока он находился в одиночной камере, его сына раздавила машина. И его даже не пустили на похороны.

— С тех пор прошло много лет, а с этим я до сих пор не могу смириться, — говорит он. — Деньги вернули в банк, и мы ни за что отсидели огромный срок. Тот, кто убил моего сына, получил всего несколько месяцев. Получается, что в этой стране деньги дороже жизни? Я и тогда удивлялся этому, и теперь удивляюсь, — говорит он, со страницы газеты глядя на меня, на всех, кто его помнит, только глаза у него не те, как тогда — веки сомкнуты, он еле-еле их поднимает.

— Все не так, как нам кажется, — думал я, идя в палатку Миле Пейкуре.

Некоторое время назад компания заменила старый ларек — газетный, металлический, на новый, пластиковый, с желтой крышей. Как мне рассказывал сам Миле Пейкуре, старый ларек отвезли в деревню и поставили рядом с магазином. В нем дочка Брюхозадовых, золотой ребенок, продает сверчков, зябликов, кузнечика в рубашке, филигранных бабочек, ворона с выцветшим клювом, говорливых петухов и светлячков из серебряной нити, кувшин, серп, глиняных индеек, деревянные яйца и собаку, лающую на соек, паука, дрожащего в воздухе, сову, глядящую в окно, ворону, сидящую на оливковом дереве, воробья, прыгающего по пробкам от лимонада,

гондолу, часы, божью коровку, луч света, блуждающий по рукам, бабочку, застрявшую в терновнике, голубя и балкон, пустельгу, последний луч солнца, удода, стоящего на кресте с дыркой посередине, и так далее, — сказал он, прислонившись к двери, которая теперь выходила на реку.

В то время Миле продавал уже не только газеты и сигареты, но и разные другие вещи, даже бутылочки с ракией, мастикой, коньяком и вином. Всякие там были бутылки. Покупатели выбирали их недолго. Я видел, как они опустошают их одну за другой. Мутимир выстраивал пустые бутылки на каменной ограде за ларьком. Иногда он обращался к ним по имени; большинство из них он брал; инспектора Перо Ланского запихивал в штаны, в тюрьму, а Веду затыкал указательным пальцем и махал рукой, как бы ругая ее.

— Она пять лет ждала, когда ты вернешься, — сказал кто-то.

— Почему ты на ней не женился; почему вы разошлись? — спросил другой.

— Она ногти грызла, — ответил Мутимир.

— Когда любят, никаких недостатков не замечают, — добавил третий.

— Ну, нет, — воскликнул Мутимир. — Женщина без ногтей, как гиена в прерии, питается падалью, — говорит он, ставя очередную бутылку в середину и раздвигая остальные. Он расставлял их на стенке по размеру. Иногда, когда он бывал

более-менее в себе, его интересовало вино как эликсир молодости; я говорил ему, что если хочешь чувствовать вино, нельзя курить перед тем, как пить; никотин влияет на вкусовые рецепторы. И не стоит пить кофе, потому что кофе забивает вкус большинства напитков.

— Прежде чем пить вино, надо сделать глоток воды или съесть кусок хлеба, — говорю я, а он фыркает, не вынимая изо рта бутылку, зажатую туго, как мундштук.

Миле Пейкуре дает мне знак остановиться, не терять времени, но я упрямлюсь, меня злит такое отношение к вину, божественному напитку, заменяющему даже кровь Единородного, поэтому я продолжаю, как будто я на дегустации в Венеции.

— Сначала налейте вино в бокал, повертите бокал и поведите им по кругу. Если вино стекает по стенкам крупными каплями, это очень насыщенное вино. Чем больше жидкости стекает по стеклу, тем лучше вино. Вино пьют из бокала; у каждого вина свой бокал, — разъясняю я. — Бокал следует держать за ножку. Тогда вино будет защищено от тепла тела, и его вкусовые качества будут лучше, — говорю я.

Миле Пейкуре толкает бутылки костылем, который держит за дверь, как оружие, и входит в ларек.

— Продолжим, — говорю я. Я упрямый, я не сдаюсь. — Как правильно определить цвет? — спрашиваю.

— Плевал я на цвет, — говорит кто-то из толпы.

— Цвет вина определяют в хорошо освещенной комнате, бокал при этом держат перед белым фоном. Белые вина имеют цвет от зеленовато-желтого до темно-золотистого. Красные вина от ярко-красного до фиолетового по краю. Вина темного цвета получают из винограда, выращенного в жарких краях. Чем темнее белые вина, тем они старше, — объясняю я, замечая, что тем временем подошли Эко Эй, Ицо Огарок, Дуле Пацов, Часлав Бабачев и некоторые другие. — Запах гораздо важнее цвета, — добавляю я. — Сделайте несколько круговых движений бокалом и сразу вдыхайте аромат, кратко, но интенсивно. Основу любого аромата составляют семь запахов.

— Что это за запахи? — спрашивает Дуле Пацов. — Когда я стану *президентом*, мне нужно будет знать, что и как пахнет, — говорит он.

— Вина в основном обладают растительным ароматом, могут также присутствовать ароматы пряностей, фруктов, дыма, цветов; вы можете почувствовать привкус сливы и шоколада, запахи грибов, розы и трюфеля, ягод, например, смородины и ежевики, вкус персика, абрикоса и миндаля, вкус меда и груши, цитрусовых и шелковицы, — сказал я, но на этом мое цирковое выступление перед публикой не закончилось, хотя я пришел только, чтобы повидаться с Миле Пейкуре. Я уже так давно его не видел, и мне хотелось похвастаться перед ним, что у меня теперь

есть дочь — жемчужная капля с запахом винограда «Шенен блан».

— Какой еще трюфель, какая еще мушмула, — говорит Мутимир Веревка, опрокидывая в рот бутылку так же, как и предыдущую.

— Вдохни воздух, наполнив вином рот, — говорю я.

— Я не дурак, — говорит он. — Если я вдохну, то утону, — восклицает он, а остальные скалят зубы, как обезьяны.

— Вино — божественный напиток, — говорю я. — Каждый должен прочувствовать сущность во рту вина — маслянистую, бархатистую или кремовую.

— Не принимай близко к сердцу, брат, но рот не для того, чтобы его полоскать зазря. Все эти разговоры насчет оценки вина по вкусу — чистый бред. Один мой подельщик посылал вино на конкурс; в первый день его вино завоевало золотую медаль, а во второй не прошло предварительную квалификацию. Одно и то же вино. Под другим именем. Это все полная чушь, всегда так было. В другом случае он три раза подряд давал одно и то же вино дегустировать одним и тем же судьям, и они одному и тому же вину дали разные оценки. Первый раз, что оно комплексное, сбалансированное и округлое, второй, что оно слабое, пустое, слишком легкое и некачественное, и третий, что оно острое и сильное, вкус терпкий и кислый. Хрен отвислый! Откуда их только берут таких! А вообще я домашний самогон ни на что на свете

не променяю, — говорит Мутимир, почесывая между бровями, как будто у него растет голова. Закончив речь, он ухватил горлышко бутылки, которую держал как микрофон, поднял ее, наклонил, выпил залпом и бросил к стенке. Бутылка подпрыгнула, толкнула другую с надписью «виньяк» на этикетке и упала в то, что называлось рекой.

(еще одна белизна, на всякий случай)

Про место, о котором идет речь, можно сказать, что перед ларьком находится тротуар, слева от него явор, а за ним ручей или, точнее, речушка, которая иногда становится рекой, тогда она подмывает стену, сносит цветочные вазы, разливается по двору ремесленного училища и растекается по улице Народных героев до окраины города. По дороге она собирает «фиаты» и «трабанты», так что люди машут с берега, как будто провожают гастарбайтеров, уезжающих на заработки. Одно такое наводнение унесло дома из Конских нор и отнесло их в камыши у Маренских ушей, так что кузнецы, подковщики и молотобойцы, вставшие утром помочиться, увидели, что переселились, даже не почувствовав этого. После первоначального шока от зрелища, ища убежище для большой нужды, они стали улыбаться себе в усы, осознав счастье, постигшее их во сне. После стольких попыток избавиться от туш павшего скота,

которые сбрасывали им в долину, они теперь были там, где продавали скот, скупавшийся по деревням, на самом скотном рынке. Когда люди из близлежащих домов увидели, что произошло во время наводнения, реку стали называть Безумная, и с тех пор так все ее и называют, хотя настоящее ее название было Большая.

Вернувшись к тому, чего не видно, но что вовсе не значит, что этого не существует, продолжу.

Миле Пейкуре был в палатке и не увидел, что Мутимир Веревка сделал с бутылкой. Он даже не заметил, как первые капли дождя упали на листья явора. Дождь шел от края радуги. На улице с одной стороны было сухо, с другой мокро. Яркое солнце сверкало и искрилось на стекле ларька.

— Проваливайте ко всем чертям, чтобы я вас тут не видел, — сказал явор, и он еще не успел выругаться, а ругаться он умел мастерски, как один за другим, мокрые сзади, сухие спереди, собравшиеся разошлись по своим делам, хотя у большинства из них никаких дел не было. Исчез Ицо Огарок с неработающей зажигалкой; Дуле Пацов с некрологами в качестве предвыборного материала; Эко Эй с мячом, скачущим где-то перед ним; Часлав Бабачев, познавший обе стороны человеческой натуры; Чертик Мой с козой, с которой он обращался, как с пчелой, и в конце концов Мутимир, который едва сумел подняться и договориться с самим собой, в каком направлении ему идти.

Потом, пока дождь рыл землю, как крот, скорее во вред, чем на пользу, ежедневной прессы приходило все меньше, а бутылок все больше, Миле Пейкуре не терпелось закончить работу и уйти к себе домой, чтобы заняться книгами, взятыми в библиотеке. В городе никто не мог соперничать с ним ни по количеству взятых названий, ни по скорости их возврата. Читал он их как-то странно — находил для себя вопросы на первых страницах и потом лишь искал на них ответы. Ему хватило пятнадцати минут, чтобы разоблачить «Мадам Бовари» и «Анну Каренину» вместе взятых, и восьми, чтобы понять, что происходит и что будет происходить в «Тысяче быков» или «Тысячелетней пчеле». Я обнаружил, что его разочаровала предсказуемость того, что человек может придумать про то, что уже придумано, и чего он никогда не сможет понять до конца.

Когда я размышляю о чем-то за пределами моего понимания, — говорил он, — у меня вдруг становится тесно в голове и по ногам бегают мурашки. Я не знаю, как по-другому объяснить тот момент, когда я достигаю границы своих возможностей. Единственный выход — повернуться спиной к реальности. Мы слишком малы, чтобы понять суть больших событий, — добавил он. И спросил — А знаешь почему? Потому что мы функционируем, основываясь на вопросах и ответах. Великий Создатель творил только на основе решений, — говорит он, протягивая мне несколько книжек с картинками для дочки.

Как только время начинает ускоряться, становится непонятно, как далеко оно улетело вперед и как далеко оно отлетело назад; а про дочку — пусть она будет счастливее всех, а об остальном позаботится сама.

В наплыве времени, с периодическими приливами и отливами по воле Луны, как говаривал Миле Пейкуре, я узнал, что Эко Эй отправился туда, где никого не волнует, сколько времени потребуется, чтобы вернуть мяч на поле; узнал, что Ицо Огарок поджег себя на яворе, сидя на ветке над ларьком; узнал, что Дуле Пацов ушел в безвозвратную агитацию, а через некоторое время, в другой раз, вернувшись с винной ярмарки в Палермо, я узнал, что Чертик Мой улетел в вечность вместе с козой, которую он считал пчелой.

И после всего этого, склонившись под навесом над книгами, Миле Пейкуре продолжал считать отсутствие присутствием. В последний раз, когда я был у него, он рассказал мне о Чаславе Бабачеве. В одной из газет он прочитал, что сотни тысяч участников танцевали на улицах Мадрида в крупнейшем в мире шествии за права тех, кого провидение наделило способностью познать обе стороны человеческой природы, и Часлава сфотографировали с транспарантом, который гласил: тут написано не то, что ты видишь.

Глядя на профиль Миле с бакенбардами, бородой и остатками волос, я узнал от него, что Мар-

гаритка Брюхозадова ушла от Татомира Брюхозадова к циркачу с медведем, играющим на банджо, а немец по непонятным причинам улетел на пустом автобусе в озеро, но сумел забраться на багажник и дожждаться прибытия спасателей. Упоминал он и о Драгане Галуне.

— Не знаю, когда, — говорил Миле, — может быть, в каталажке, он научился приручать домашних птиц. Теперь Драган собирает во дворе покалечившихся голубей; учит их ходить на крыльях, отпускает их летать, как ручных, учит их взлетать на высоту в триста метров, а когда запускает во двор очередного голубя, тот, что в небе, тотчас же входит в штопор и падает камнем, вращаясь вокруг своей оси. Драган говорит, что, если птица вращается, значит — успех достигнут.

«Смотри, — говорил Драган, показывая на одного, — у этого голубя все есть: хороший полет, круговой полет, взлет, разворот и посадка. Его, у которого на шее ожерелье и нет обеих лапок, я обучаю на почтальона. У него хорошо получается. Он следит за светом, который не видит никто, кроме него. Он уже умеет делать круг, чтобы запомнить место; я беру его, надеваю кольцо на то, что осталось у него от ноги, везу в соседний город и через час встречаю его здесь, во дворе. Я учу его действовать умом, чтобы отделять видимое от невидимого. Однажды он донесет сообщение туда, куда нужно, и тогда справедливость восторжествует для всех».

Он учит их носить камешки для мозаики сына, которую делает на стене дома. Во дворе есть разные фигуры, деревянные с резьбой, глиняные, фонтан из известняка, церквушка из стеклышек и многое другое. «Я смотрю на него и удивляюсь, как он перебирается из одного конца двора в другой, не используя ноги, — сказал мне Драган. — И крыльями не пользуется, как пользовался раньше, когда ходил между скамейками. В конце концов я понимаю, что он на самом деле движется по линии, которую я черчу перед ним. Ведь когда время начинает ускоряться, все сливается в одну линию. И я однажды стану линией. Прямой линией, без объяснений. Я не признаю вопросов и не признаю ответов. Я признаю только решения», — закончил он.

(никто не знает, что ты пишешь)

В общей неразберихе, наступившей после распада времени, Миле Пейкуре начал впадать в депрессию, говоря, что однажды у нас не будет того, что есть, но мы будем думать, что то, чего у нас нет, у нас есть.

— У нас будет чесаться то, чего у нас нет, как будто оно есть, — сказал он. — Мы будем чувствовать, что существуем, а на самом деле нас не будет, — добавил он с чувством пустоты и подавленности, которого я до сих пор не замечал.

— Нелегко присутствовать, когда отсутствуешь, — говорит он, окруженный множеством книг. Он просматривает их, хватая одну за другой. Я видел, как он в творческом припадке стучит по клавишам пишущей машинки, напоминая мне о времени, когда я печатал свои компиляции о вине.

— Добиться успеха в свое отсутствие, это великий подвиг, — добавляет он. — Мимолетный, суетный успех в течение жизни — это не тот успех, которым можно хвастаться, — поясняет он, поглаживая седую бороду. — Это как присутствовать на мероприятии, проводимом в твою честь, с предполагаемым впоследствии коктейлем, когда ты спишь вечным сном, скрестив руки. Нелегко после смерти ходить, как будто ты жив; нелегко радоваться весне, бабочкам и закату. Нелегко в разлуке любить родину, — сказал он, вытащил листок из машинки, скомкал и бросил.

Сквозняк, струившийся через забор, вытолкнул его на середину двора.

— Ветер — душа времени, — продолжил он. — Нет ничего более легкого и в то же время более сильного, чем он. Без ветра земля была бы вроде луны; без души человек был бы вроде камня, — сказал он. — Во всяком случае, я своими глазами в определенные моменты могу увидеть то, что помнится и что представляется, весь ход вещей сразу, вместе со злобой и завистью тех, кто не глядит дальше своего носа... Будь спокоен, ты присутствуешь в том, что

я себе представляю! И знаю, что ты попадешь туда, где тебя нет, а я буду тому свидетелем, — сказал он и запел известную песню о неведомом отчаянии и неведомых мечтах: *Придет это время, придет день такой, когда ты заплачешь над гробом с тоской, но поздно, я буду в могиле сырой... Подумай скорей, свою душу открой, люби же меня, как тебя я люблю; не дай мне в отчаянье согнуться, молю...* Несколько дней назад я написал текст про озеро, — говорит он.

Миле вспомнил свадебных гостей, волну, бьющую в барабан, жениха и невесту, ожидающих на берегу, вспомнил канистру для бензина; как она смогла самостоятельно добраться до другой стороны залива.

Он упомянул тех, кого так и не нашли; вспомнил Антона Печатника, путешествие в монастырь, дерево, которое называли голым человеком, фреску скандального содержания, и то, что он, якобы, остался в живых и сбежал; упомянул Драгана Галуна, утверждавшего, что видел его в каком-то городе у моря.

— Нелегко добиться успеха в жизни в свое отсутствие, — повторяет он, ища текст на столе.

Через некоторое время он бросил искать текст, но нашел фотографию с Мирной во дворе школы. На ней Меглена стоит рядом с ней слева, я справа; Миле Пейкуре сидит в своем кресле с одной стороны, а Драган Галун стоит с другой. В глубине можно рассмотреть акацию, школьный колокольчик и ворона

с ветхим клювом. Мирна как всегда улыбается; она положила ладони на плечи мне и Меглене; она смотрит в пространство перед нами, а в ямочках на щеках дрожит золотой отблеск озера.

В тот момент я без малейших колебаний решил отыскать Мирну, узнать, жива ли она, а потом, если жива, расспросить о слухах, которые распространялись тогда, а некоторые распространяются до сих пор, что ее муж выжил в той трагедии и что живет где-то за границей. Как только мы встретимся, я сразу спрошу, нашла ли она его. Или лучше спрошу, давно ли она его нашла.

— Но для начала надо увидаться, — подумал я. — Хотя бы просто увидаться. И я не скажу, что пишу, что пытаюсь писать.

— Осторожно, никто не знает, что ты пишешь, — сказала божья коровка, садясь на часы.

Выискивая детали в комнате, я буду искать ямочки на ее щеках, те самые, что не могли скрыть волнения, когда она смотрела, как он спускался по склону к школе. На лужайке под акациями останавливался «фиат» с серебряными колпаками на колесах, Мирна садилась на сиденье рядом с водителем, не спеша заносила внутрь одну ногу, потом другую и захлопывала дверь. Воздух, вившийся позади машины, продолжал пахнуть счастьем до тех пор, пока этот запах не забивали выхлопные газы грузовиков, с которых на мостовую капал виноградный сок.

(никто не верит, что ты существуешь)

Мирна одна в квартире старшего сына. Он уехал на выходные с женой и детьми. Младший сын давно живет за границей. Ни тот, ни другой не помнят своего отца. Она проживет у сына всего несколько дней, прежде чем вернуться в свою квартиру у реки.

У дверей меня встречает собака, которая ее охраняет. Я сижу на диване, а она напротив меня в кресле. На столе стоит ваза с фруктами. Она встает, идет на кухню и приносит два куска торта, который ее невестка испекла перед отъездом. Глядя на руку, протягивающую тарелку, я понимаю, что это не та рука, которая держала мою, когда я рисовал весну на уроке рисования; которая рисовала цветы одним взмахом, не отрывая карандаша от бумаги. Эта рука в перчатке из пятен — не та рука; та рука — рука из другого времени, — говорю я себе. — Синие жилки еле держат пальцы вместе. И моя рука, та, что берет ложку, не та самая рука; пальцы несколько согнуты, ногти вросли, а суставы отекли и раздулись, как шампиньоны. Однажды Миле Пейкуре сказал, что большой палец связан с мозгом и черепом, указательный — с легкими, средний — с тонкой кишкой, тот, что рядом с ним, — с почками, а мизинец — с сердцем. Я говорю, что попробую, но столько торта съесть не смогу. Я прошу ее забрать второй кусок. Она переносит его на блюдечко, поправляя слуховой аппарат на ухе. В ее глазах скрыта та же улыбка, что была у нее, когда

она приехала в деревню. Она была самой красивой учительницей в мире; улыбчивой и веселой, живой и радостной, хотя в детстве она пережила страшные вещи. И сейчас она начинает с того, что ей пришлось бежать через границу, сутками дрожа от страха, разыскивая по дороге родителей в чужой стране. Многие дети умерли от голода, болезней и ран. В стране, где она пробыла десять лет, она закончила школу на иностранном языке, выучила язык тех, кто выгнал ее из родного города, и всего лишь один урок был на родном языке. Когда войска с Кавказа подавили революцию, известную по флагу с дыркой, приехал ее отец, взял ее вместе с братом, который тоже был в таком же доме, как и она, с собой и вернул в ту часть родины, которую освободили, туда, где она живет сейчас, в город, где они с мужем встретили и полюбили друг друга, где она родила сыновей, в место, где живет теперь старухой со слуховым аппаратом.

Несколько лет назад в поле рядом с ней ударила молния, и с тех пор она почти не слышит, но прибор помогает все понять, если говорить погромче, и, если она сама не говорит, а только слушает. Так она сказала мне, и я понял. Я жду, пока она закончит, чтобы спросить о главном, о том, что произошло так много лет назад.

Я спросил, и она начала.

— В то время я работала учительницей в деревне, — сказала она.

— Я знаю, — подумал я.

Дрожащий голос собирает время, которое давно прошло, и он уже не тот, серебристый и радостный, звеневший между партами; этот голос обращен внутрь, он шепчет слова на выдохе, — думал я. — Это не тот голос, каким он был, когда они обнимались, когда он вертел ее, как в кино, а она смеялась так, что с акации опадали цветы. Время, которое мы несем с собой, — это не то время, которое мы оставили позади, — думал я.

За три года до трагедии они поженились, у них родилось двое сыновей; одному было полтора года, а другому восемь месяцев, когда произошла трагедия. Ей было двадцать шесть, когда она осталась одна. За год до этого им подарили лодку, которая потом потонула — офицер, лейтенант, оставил ее им на память. Когда его часть вывели из города, он, этот приятель, не смог взять лодку с собой. Он сказал, что это была первая лодка на озере, военная лодка с мотором.

На ней мы обычно отплывали с того самого места, откуда позже отплыли сваты и гости, и сходили на берег у плотины, куда и они должны были добраться.

В тот судьбоносный конец недели один за другим отмечались три праздника. Сначала Лазарева суббота, потом Вербное воскресенье, а 7 апреля было Благовещение. Они семьей праздновали Лазареву субботу, потому что так был окрещен их старший сын, и в тот же день был день ангела и у свекра.

— Когда я вернулась домой в пятницу полудни, все необходимое для именин было готово, —

сказала Мирна. — Я собралась в парикмахерскую и, выходя во двор, встретила одного из соседей; он сказал, что в деревне, где я работала учительницей, назначена свадьба, что гостей надо было перевезти на лодке, и все это должен был снимать какой-то фотограф из газеты, родственник жениха. Он обещал, что сделает снимки на память. Оказалось, что организаторы свадьбы целую неделю уговаривали моего мужа отвезти их на лодке, — сказала Мирна. — Вечером справляли именины, и он еще колебался; на него давили во время празднования, и я сказала Антону, чтобы он не соглашался, известно, как справляют свадьбу в этих местах, начинают пить за неделю до срока. Он целую ночь не спал; не мог отказать им; на следующий день утром, в Вербное воскресенье, я провожала его на лестнице, а он держал в правой руке канистру с бензином. Я запомнила его машущим мне левой рукой от ворот. Когда пришли, чтобы сказать мне о несчастье, я закричала и рухнула, как подкошенная, ничего не помню. Позже я попросила, чтобы меня отвезли туда, где потонула лодка, и снова потеряла сознание. Журналист, который намеревался запечатлеть торжество, запечатлел трагедию. В тот же день я видела по телевизору снятые им кадры, и эти кадры врезались мне в память на всю жизнь. До сих пор они возвращаются в мои сны, — говорит она. — Я видела трупы, плывущие лицом вниз, и я видела беременную женщину, плывущую лицом вверх. Я искала среди них своего мужа, но не нашла

его; запись передали только один раз и больше никогда не повторяли.

— Как же это случилось? — спросил луч, запутавшийся у меня в руках.

Мирна дотронулась до этого же луча рукой.

— В лодку, — сказала она, — полезли все сразу; мужу пришлось выталкивать людей обратно. Среди них был гармонист; этот человек играл и на нашей свадьбе; потом он приходил ко мне, чтобы поблагодарить за то, что Антон его не впустил в лодку. Он не умел плавать; он бы утонул вместе с другими. Хриплым голосом он сказал мне, что до конца своих дней будет играть для моих сыновей бесплатно. Я смотрела, как он уходит с гармошкой за спиной.

Через некоторое время лодка с людьми отчалила от берега. Они благополучно отплыли метров на двадцать, но тут одна из женщин увидела воду на дне между шпангоутами — а в лодку всегда набиралось немного воды, и когда я плыла с ним, и когда он вез меня в деревню, и когда он забирал меня оттуда, я всегда видела воду на дне. Та женщина тут же закричала, началась паника, все повскакивали с мест, стали прыгать в воду и те, кто умеет, и те, кто не умеет плавать; кому-то удалось ухватиться за покрывку, которая была в лодке, а мой муж пытался спасти одного из детей, ему удалось его вытащить, но кто-то в пальто не мог удержаться на поверхности, он вцепился в него и утянул обоих за собой. Если бы не было паники, если бы люди вели себя спокойнее,

они бы доплыли до берега. При том что Антон уже повернул лодку назад, — говорит она и ее взгляд замирает в одной точке, как будто она видит то, о чем говорит. — Некоторых из утонувших выбросило из воды на берег, — прошептала Мирна. — Его среди них не было. И потом его не нашли. А ведь он был лучшим пловцом во всей округе, молодым, крепким, ростом сто восемьдесят два сантиметра, — сказала она, глядя куда-то над столом, словно ища его лицо в воздухе. — Он по двенадцать раз проплывал от плотины до монастыря; равных ему никого не было.

Может быть, поэтому сразу после этого события поползли слухи, что Антон Печатник жив, что он сбежал, потому что виноват в случившемся, что его видели, что он стал пастухом, что он бежал за границу, что он спрятался в ее родном селе, которого Мирна сама не посещала с детства, даже появилась какая-то женщина из горной деревни, утверждавшая, что заметила его в одной из скитских келий близ монастыря. Его искали по всему озеру, искали в заливах, она тоже ходила вместе с людьми, была в деревнях с его друзьями; отнесла дар в церковь и снова отправилась на поиски, но никто нигде ничего не нашел. Мирна сказала, что она была и в Петриче у Ванги; в первый раз ясно-видящая назвала все его приметы, даже рассказала, как он был одет; во второй раз она сказала, что голова его между двух камней, но не сказала, утонул ли он или с ним что-то случилось, а в третий раз предсказала, что они встретятся недалеко от того места, где его ищут.

— И так прошли полных пять месяцев. Наконец наступил солнечный сентябрьский день, седьмое число месяца, городской праздник. На рассвете в озере появился труп. Я сразу поняла, что это он, — сказала она. — Мои ангелы уже сказали мне: я должна увидеть его еще один раз в жизни! И я увидела его, — сказала она, сложив руки на коленях. — Как только я услышала, что возле мельницы всплыл утопленник, я сразу же побежала к озеру. Группа людей стояла на крутом берегу, они словно выстроились в цепочку. Моего мужа отнесло метров на сто от места трагедии. Когда я пришла, его уже везли в лодке на мельницу. Носилки вынесли на берег двое милиционеров, — рассказывает Мирна. — Я сразу поняла, что это он, хотя его невозможно было узнать с первого взгляда. Труп почти разложился, голова его как будто была сплющена между двумя камнями, почти раздавлена, кожа с одной стороны собралась до самого лба. Я попросила проверить, есть ли в кармане рубашки сигареты «Белград». Я была права. Там нашли пачку, — сказала она.

Только когда Антона Печатника похоронили, и на похороны пришел весь город, только тогда прекратились слухи о том, что он жив, что он прячется где-то по деревням.

— Надежда сильна, если ее не видно невооруженным глазом, — сказал Миле Пейкуре, когда я сказал ему о встрече.

— Не знаю, когда мне было тяжелее, когда тела не нашли и ходили слухи, что он жив, или когда

нашли тело и слухи, что он жив, прекратились, — сказала Мирна перед тем, как я собрался уходить. — Когда у тебя есть надежда, у тебя есть то, чего у тебя нет. В конце концов у меня осталось только то, что выбросила вода. Труп был моим мужем; его левая рука была согнута, как будто он плыл, а правая рука была вытянута, как будто он что-то толкал ею. Прежде чем появиться на поверхности в последний раз, он попытался правой рукой подтолкнуть Меглену к крышке, за которую держались те, кто спасся. Те, кто был на берегу, видели, что ему не удалось ее спасти.

— Ему тоже не удалось спастись, хотя он отлично умел плавать. Он бы мог спастись, — говорю я.

— Мог, — говорит Миле Пейкуре, — но не хотел.

— В озере осталась только она одна — Меглена, — говорю я. — Водолазы сказали, что внизу есть скелет, придавленный лодкой; там течет река, там сильный поток воды, поэтому они не осмеливаются его вытаскивать, течением их может унести в турбины гидроэлектростанции.

В этой части про то, чего нет, говорю я, а Миле Пейкуре печально улыбается.

— Наша река течет по дну озера, метрах в пятидесяти от поверхности, вода бьется о подпорную стенку у мельницы, покрывается рябью по береговой линии, словно следует за улыбкой Меглены, как будто она здесь, в волнах, как будто она часть озера, как будто она часть нас.

— Прошлое — это не товар с истекшим сроком годности. Ничто не исчезает навсегда, — добавляет он.

— Невозможно поверить, что ее больше нет, — думаю я.

— Мне кажется, я уже говорил, что в голове, слева или справа, неважно, заложен набросок плана с информацией о том, что в нас должно быть заложено изначально. И никто не может стереть этот план. Как я не могу избавиться от ноги, которой, как все думают, у меня нет, и не знают, что она чешется, когда я вспоминаю о ней, — говорит Миле Пейкуре.

(описание и инвентаризация сказанного)

Позже, думая об этом плане, заложенном в голове, я постоянно продолжал носить в себе то, что не видно, и часто думал о Миле Пейкуре. Я видел его в зеркалах, установленных на коляске; я видел его в стекле автобуса, разворачивавшегося у бакалейной лавки; я видел его в капле, стекающей по ноге Маргаритки Брюхозадовой; я видел его в каждой виноградине гроздьев, нависших над колодцем влюбленных.

— Видишь стенку, выстроенную из самана, замешенного на вине? — спрашивает он.

— Вижу, — отвечает заблудившаяся в терновнике бабочка.

— Когда кирпичи намокнут от дождя, по переулку потечет столетнее вино, — продолжает он, а лицо

дрожит, как пар в зеркале. — В старые годы люди не знали, что делать с вином, поэтому добавляли его в саман, делая необожженный кирпич. Они считали, что от этого стены будут крепче. Дома из винного самана есть только здесь и больше нигде. В тетрадке попа Шако написано, что вино можно было носить в полотне — завернешь, схватишь за концы, переброшишь через плечо и несешь домой, к столу. Ты можешь представить себе вино, которое несут, завернув в скатерть? Густое вино, прекрасное вино, — говорит мой друг, ожив в зеркале. — Кто не пробовал вина, которое давили женские ноги, не знает, что такое страсть, тот умрет так и не познав настоящего наслаждения, — говорит он, глядя на прекраснейшую в мире лозу, на лозу, что взбирается на явор у колодца. — Дерево засохло много лет назад, но каждую весну оно будто оживает; лоза превращается в крону явора, и с каждой ветки поет по соловью. Они поют каждый по одной строчке, и побеги звучат ангельским хором: *Парень с девушкой влюбились, эй! Парень с девушкой влюбились, с малых лет друг друга знали, так-то, милый мой. Время им пришло жениться, эй! Время им пришло жениться, дочке мать не разрешила, так-то, милый мой. Дочке мать не разрешила, и отец запрет дал сыну, так-то, милый мой. И тогда они решили, эй! И тогда они решили, что пойдут во лес зеленый, так-то, милый мой. Явором ты станешь, милый, эй! Явором ты станешь, милый, соловьем я стану певчим, так-то, милый мой.*

— Кто может представить себе такое дерево, — подумал я, и в этот момент голос, который знает, что я думаю, вернулся из незримого.

— Раз уж мы заговорили о любви, — вещает он, — есть история, которая еще не закончилась. Ты знаешь, что вне зависимости от того, было ли это или другое на самом деле, финал не должен быть похожим на кульминацию детективного романа. И Достоевский в «Преступлении и наказании» отталкивался от обычной криминальной хроники, но превратил ее в нечто другое. Все не так, как кажется. Может, было, может, не было. Вот, скажем, вытащили труп из озера. Она увидела его и сразу поняла, что это он, хотя труп было невозможно опознать. Сказала, пусть проверят, есть ли в рубашке сигареты «Белград». Как ты думаешь, они нашли пачку? И если нашли, то является ли это доказательством того, что это действительно он? Может, подложили, когда везли в лодке, еще не доплыв до мельницы. Многие не верят в то, чего не видели, и поэтому человек, который не боялся красоты, добра и любви, продолжал появляться в деревнях, в летних овчарнях, в монастырях, в пещерах вокруг озера, на границе и даже в странах за океаном. Иногда моложе себя; иногда старше всех.

— Что это, что относилось к тому, чего не было, — сказал голос, превратившийся в бабочку. — *Явором ты станешь, милый, соловьем я стану певчим*, — она взмахнула крыльями и исчезла в пространстве ангельских звуков.

Как дегустатор вин, я часто вспоминал про явор с виноградной лозой и дома, построенные из вина. Когда я рассказывал своим коллегам, которых встречал на ярмарках, про дома из вина и про вино в скатерти, которое перекидывали через плечо и так несли домой, они не верили, что где-то в мире есть такие дома и такое вино. Я стал задумываться о том, что могу сделать из этого туристическую достопримечательность, но перестал, когда узнал от Миле Пейкуре, что те, кто остался в деревне, сливают нечистоты из домов прямо в озеро.

Вскоре после этого, когда я ненадолго приехал в город, я узнал, что за несколько дней до того погиб Драган Галун, дотронувшись алюминиевой трубой для орошения до линии электропередач над виноградником.

— Не знаю, намеренно или случайно он сделал это, — сказал Миле Пейкуре и пригласил меня посидеть в кафе напротив его ларька. Он был обеспокоен падением человеческой морали. Его тревожило равнодушие людей, которые теперь не останавливались у явора, чтобы посмотреть, кто покинул этот мир. И даже когда останавливались, то никого не волновало и не потрясало то, что они читали. Несколько дней назад я видел, как один потирал руки, глядя на некролог Драгана. — Что это за человек, — подумал я. Если бы я мог пролезть через окошко в витрине, я бы расколол ему голову, как тыкву. Когда он повернулся, чтобы перейти улицу, я увидел, что это тот, у кого

был виноградник рядом с виноградником Драгана. Он несколько лет подряд настаивал, чтобы Драган задешево продал ему свой участок; перекрыл дорогу, использовавшуюся с незапамятных времен, перенес линию электропередачи, которую должны были провести по холму. Он, видимо, рассчитывает, что отхватит виноградник Драгана немедленно и за бесценок; заставит его родных продать землю за гроши; думает, что никто не сможет ему помешать. Но он будет иметь дело со мной. Он еще не знает, кто такой Миле Пейкуре, — добавил он, а потом заговорил о моей матери. Он видел ее на рынке несколько дней назад, она едва могла нести купленное. Он взял сумки, подвез их к ее дому и стал ждать, когда она дойдет. Она просила его остаться на обед, но Миле Пейкуре пришлось вернуться на работу — он вышел только, чтобы сдать деньги в контору на рынке. Глядя в свой кофе, он сказал, что она едва поднялась по лестнице. — Перед тем, как закрыть дверь, она заметила, что я смотрю на сов, которые летали по дому, и сказала, что давно не поднималась на второй этаж, который так и остался стоять недостроенным, без отделки. «Может быть, там надо вставить окна», — проговорила она. И вот что я хотел тебе сказать — всю жизнь она строила этот дом, и, как оказалось, напрасно, все разъехались, и теперь она живет в доме одна. Телефон постоянно рядом с ней. Но она не ждет, что вы ей позвоните. Она звонит сама, чтобы убедиться, что вы в порядке. Твоя мать говорит, что никому не рассказывает

о болезнях, которые ее мучают, чтобы не обременять других тем, что знает только она, что принадлежит только ей, — добавляет Миле. В этот момент, взлетев над чашкой кофе на столе, я достигаю двора и гляжу на него сверху. Птицы парят, дом кружится. Подлетая сбоку, я вижу трещины, идущие от карниза к земле. С северной стороны дождевая вода подмыла стену. Снег, налипающий на штукатурку, и жара, бьющая волнами, разрушают фасад, и сеть трещин идет от окошка в цоколе.

— Время перережет дом пополам, — говорю я себе, а Миле Пейкуре уже перевел разговор на другую тему. Он рассказывает, что несколько дней назад прочитал о женщине, родившейся с тремя пальцами на правой руке.

— Когда ей ампутировали кисть, она вдруг почувствовала, что у нее пять пальцев! В голове так или иначе есть набросок здорового, правильно функционирующего тела, и этот набросок проецируется на тело и сознание. Что-то в нас, то, что находится глубоко внутри нас, посылает информацию о конечностях независимо от того, существуют они или нет. Оно не исходит из предшествующего опыта, а черпает информацию с более глубокого уровня познания. Оно знает, что у нас по пять пальцев на каждой руке, а не по три или четыре. Я не помню момент, когда потерял ногу, но даже если и вспомню, то все равно буду думать, что она здесь, может, чуть меньше настоящей, но реальная. Иногда в ней чувствуется настоя-

щая боль, — говорит он. — Такое ощущение бывает и когда удален глаз, удален зуб, удалена грудь. Если ты чувствуешь ногу, которой больше нет, почему бы не почувствовать все остальное, чего у тебя уже нет. Если ты думаешь, что у тебя есть нога, которой у тебя нет, почему бы тебе не думать, что у тебя есть душа, которой у тебя нет, и что ты страдаешь из-за того, чего у тебя нет, как если бы оно у тебя было, — сказал он.

(время внутри нас не движется без нас)

Через некоторое время в самолете, который собирался сесть и искал взлетно-посадочную полосу среди куч мусора из полиэтиленовых пакетов, я вспомнил, что Миле Пейкуре сказал в кафе напротив ларька.

— Если ты думаешь, что у тебя есть нога, которой у тебя нет, почему бы тебе не подумать, что у тебя есть время, которого у тебя нет. Но времен не одно и не два. Времен превеликое множество. Какое из них наше время? И как долго оно длится? Большое заблуждение состоит в том, что мы верим, что у нас много времени, бесконечно много времени, так что можно откладывать все на потом, — сказал он. — Отложить значит передвинуть на попозже. И что передвинется? Мы или время? — спросил он.

Перед тем, как сесть в такси, я услышал звонок мобильного телефона в сумке. Разговор длился

всего несколько секунд: мама в больнице. Пять дней врачи определяли причину ее болезни, и пять дней она не впадала в отчаяние, как не впадала никогда.

— Я сначала должна выжить, а страдать буду потом, — говорит она, шутит над собой, оправдывает врачей, у которых умирают больные с аппендицитом.

Но на шестой день дьявол решил подшутить над нами, мы перевезли ее в столицу, и там врачи выяснили, что у нее прободение язвы, в задней стенке желудка образовалось сквозное отверстие, живот воспалился. Хирурги сделали все, что могли; операция длилась пять часов.

Я смотрю на нее через стекло палаты интенсивной терапии. Волосы заплетены высоко надо лбом. Белые волосы собираются сеточкой. По морщинам скользят лучи света, падая на металлические поручни кровати. Я вижу, что она изо всех сил борется с тьмой, пытается разлепить веки, но у нее не хватает сил открыть глаза. Я думаю, она хочет убедиться, что я все еще стою у больничной койки, которую везут в операционную.

Через несколько минут доктор открывает окошко и привычно объявляет, что мы должны быть готовы ко всему, даже к худшему.

— Наверное, он хочет сказать, что все в руках Всевышнего, вера в исцеление и сила больного, который борется за жизнь, — подумал я, глядя, как мама пытается немного пожить для себя. Впервые она живет для себя, и я понимаю, что она не знает,

как это делается. Я считаю толчки, когда она вдыхает и когда выдыхает. Ветер бьет в окна. Ворон с кривым клювом, прилетевший из деревни, качается на сухой ветке над балконом.

— Время внутри нас не может двигаться без нас, — говорит он и исчезает в голубом инее за домом.

— Как он сюда попал, — думаю я. — Разве я не оставил его в прошлом?

Персонал за стеклом окликает нас, чтобы мы покинули отделение интенсивной терапии. Они просят оставить наши номера телефона, по которым с нами свяжутся, но я сразу прошу сестру дать мне свой.

— Я не хочу услышать то, что они могут сказать сегодня вечером, — подумал я, — хотя я хочу верить, что мама позвонит мне сама, как она это сделала после операции на желчном пузыре. Как только ее привезли в палату, она тут же позвонила с мобильного, чтобы сказать, что с ней все в порядке.

И вот я жду, что она позвонит и спросит:

— Знаешь Еву, ту, которая с пуговицами?

— А что с ней? — спрашиваю я.

— Умерла, — говорит она, и звонок прерывается, слышны только непрекращающиеся гудки. В голове у меня стучат удары комков мерзлой земли о гроб.

После похорон я три дня сидел дома, не выключая света.

Миле Пейкуре пришел проверить, как я справляюсь с тоской и беспомощностью. В последний раз он убеждал меня, что мертвые не страдают.

— Нам нужны только знакомый запах или прикосновение, чтобы почувствовать, что они с нами, хотя на самом деле их нет. Я слышу, что во дворе обтесывают камень, и знаю, что Симон, отец, не оставил мое время, а оставил лишь свое. В нас есть свидетель того времени, когда мы были вместе, не такие, как сейчас, красивее, моложе и лучше. Иногда все это возвращается, давая о себе знать улыбкой, приходящей без предупреждения, или слезой, которую чувствуешь только, когда она скатывается по щеке, — сказал он, глядя на снег, скопившийся на ограде. — Горе — это отсутствие, а мы не признаем отсутствия. Мы считаем его изменившимся присутствием, — закончил он и отпил глоток кофе.

Потом он ушел, а я остался и стал готовиться к отъезду. Мне надо было выехать из дома как можно раньше, чтобы вовремя добраться в Нойштадт на конкурс *Mundus Vini*. В легкой предрассветной дремоте я постоянно ждал, когда зазвонит телефон, лежащий на прикроватном столике, как будто опасался пропустить важный звонок. И не только тогда, а и потом, терзаемый совестью, я целыми днями ждал, что мама позвонит. Я так хотел, чтобы зазвонил телефон, чтобы я мог услышать ее дыхание, а когда она поймет, что дозвонилась до меня, чтобы она превратила дыхание в радость, хотя я знаю, что она едва терпит боль в колене, из-за которой она не может ни встать, ни пойти.

(бормотание как экспертное мнение)

В гостинице в Вероне, в перерыве между двумя дегустациями, я чувствую запах роз, посаженных ею в нашем дворе. Я ищу его в винах, которые оцениваю, но такого запаха не нахожу.

— Сегодня мне надо было быть там, — говорю я себе, — поставить свечку. Столько времени прошло, а я вот опять ищу оправдание своему отсутствию. Тебе теперь все равно, лгу я или нет, но я уже знаю, что некоторые дети не заслуживают своих родителей, — думал я, глядя в открытое окно на Понте Скалиджеро.

— Не будь жалким, — говорит муха, которая ходит по подоконнику. — Прочитай последнюю главу «Отцов и детей» с места, которое начинается со слов *Есть небольшое сельское кладбище*, и тебе станет ясно, что несчастье надо описывать подробно, а потом просто указать на последствия.

Я перекладываю телефон в другую руку, пытаюсь вспомнить голос. Тем временем на экране появляется ее номер, я касаюсь его указательным пальцем и, не успев услышать непрекращающиеся гудки, шепчу:

— Мама, позволь мне указать на последствия! Он ушел в сорок семь. С тех пор прошло еще тридцать. Что такое любовь? Это боль и страдание, или ощущение, что кто-то присутствует как тень, — говорю я, и голубь из тех, что досаждают туристам,

садится на подоконник снаружи, вертит головой, осматривает меня со всех сторон:

— Не будь дураком, никто тебе не отвечает и ответить не может, — говорит он, а я оправдываюсь тем, что выпил больше, чем следовало, «Амароне» со вкусом малины, но он не обращает на это внимания, вихрем уносится в сторону дома Капулетти и садится на ограду балкона Джульетты. Я кладу телефон на журнальный столик, валюсь на подушку, закрываю глаза и вижу, что она держит в ладонях ежевику, которую собрала после того, как полила перец на грядке; мы брали их большим и указательным пальцами, плавили языком и нёбом, а она стояла с пригоршней ягод на ладони, как будто для причастия.

Во время, которое не видно, но которое я чувствую, что оно здесь, рядом со мной, в комнате с видом на Понте Скалиджеро, мы стоим у акации, топчем пижму, ждем, когда она появится на углу у церкви, и думаем об измирской халве и булочках со сливовым вареньем, и больше ни о чем, ни как она перешла через холмы, ни как прошла долины, ни как донесла купленное на базаре до дома, — думаю я и снова беру телефон, смотрю на него как в зеркало. — Не могу поверить, что тебя нет.

— Хватит слюни распускать, уже поздно, ничего не изменится, — говорит муха, спрятавшаяся под оконной рамой. — И не разговаривай с собой вслух, как шизофреник, — добавила она, потирая передние лапки. — Признаюсь, и я иногда разговариваю сама

с собой, но это только, когда мне нужно экспертное мнение, — заканчивает она.

— Ладно, — говорю я изменившимся голосом. Мушка с внушительным задом не обращает на меня внимания; она смотрит на голубя, возвращающегося от дома Капулетти. — Если ты разговариваешь сам с собой, это не значит, что ты сумасшедший, наоборот, значит, ты обладаешь здоровым рассудком, — хотел я сказать, но не успел, она исчезла в опускающихся сумерках.

Я продолжаю как ни в чем не бывало:

— Признаюсь, мы тебя разочаровали. Ты никогда не скажешь, что это так, но я знаю, что это так. В конце не получилось даже попрощаться, чтобы ты увидела нас и что-нибудь нам сказала, чтобы мы услышали, что тебя мучает, с какой болью ты нас покидаешь. И когда я смотрел на тебя в окно, а ты дышала так, словно едва держалась на поверхности, я думал, что ты откроешь глаза, чтобы увидеть меня, прежде чем мы расстанемся. И я думаю, что ты их немного приоткрыла, но не знаю, видела ли ты меня, не знаю, с какой картинкой ты ушла. И что ты сказала ему, когда вы встретились? Узнала ли ты его, вдвое моложе себя, с кудрявыми волосами? И узнал ли он тебя с белыми прядями надо лбом? Я больше не могу задавать вопросы; комок подступает к горлу. Я не могу плакать; не могу говорить. Ты можешь позвонить? Можешь хотя бы сказать, как оно там, в том, чего нет?

(момент напряженный, как вздох)

— Я согласен с тем, что воспоминания не стоит разбавлять сентиментальностью. Прощание с жизнью, которая значила для нас все, и осталась там, где ее теперь нет, это кульминация эпилога — думал я, уткнувшись в подушку в Габбия д'Оро, и в этот момент зазвонил телефон, как будто едва дождавшись, когда я закончу мысль.

— Что у тебя с телефоном, постоянно занято! Или ты все время с кем-то разговариваешь, или тебя кто-то подслушивает, — сказал Миле Пейкуре.

— Как ты? — спрашиваю я.

— Плохо, — говорит он.

— Что случилось?

— Как тебе сказать, — отвечает он. — Мы потеряли то, что у нас было, поэтому теперь мы будем думать, что у нас есть то, чего у нас нет, точно так же, как я думаю, что у меня есть нога, которой у меня нет. В будущем у нас будет чесаться то, чего у нас нет, а мы будем думать, что это у нас есть, — сказал он, и связь прервалась.

Голубь приземлился на подоконник, вытянул хвост, как фалды фрака, и посматривал на меня то одним, то другим глазом.

— Иногда попытка оправдать сделанную ошибку хуже, чем сама оправдываемая ошибка, — сказал он и улетел в сторону реки Адидже.

Позже, дома, в миг, короткий, как вздох, я смотрел, как ласточки улетают на юг и в тот же момент

возвращаются; улетают и возвращаются, и снова летят, и опять возвращаются, как точка в глазу, не существующая вне его. В этом пространстве моменты отлета и возвращения превратились в линию, безостановочно соединяющую точки. Действительно, бывают моменты, когда время внезапно останавливается, уступая место вечности.

(где, черт возьми)

Когда мы с женой приехали в деревню и заглушили двигатель машины, вокруг нас было тихо, как будто звуки были запрещены законом. Палатка Миле Пейкуре, та самая, которую привезли из города и в которой продавались сувениры из филиграни, бронзы, дерева, мрамора, керамики, известняка, проволоки, серебра и так далее, была закрыта и перед ней лежала собака, которая, увидев нас, поднялась на передние лапы и снова вытянулась в пыли. На витрине сбоку была наклеена карта тропинок, ведущих к озеру. Волны тишины бились в двери и замки. Когда мы поднимались в гору, мы слышали наши суставы. На пустоши за церковью виднелся крест Меглены. Мне не нужно было ничего повторять. Моя жена знала, где я хочу быть, когда появится зеленое небо. Выше, на месте дома, была просто куча земли вперемишку с черепицей, гнилыми брусьями и выросшей там травой, похожей на нарисованную. От стен

не осталось и следа, но я точно определил, где находится окно и мог даже открыть его; я определил, где находится дверь и две каменные ступеньки перед ней; я мог найти ее с закрытыми глазами. Я мог взяться за ручку двери подвала и открыть ее.

— Видишь человека, который красит побелкой облака, — спрашивает трава на краю двора; видишь того, кто летит над вязами, — говорит сокол, парящий над нами. видишь женщину, что красивее русалки, — говорит рухнувшая стенка хлева; видишь сухую акацию на школьном дворе, — говорит бабочка, порхающая в воздухе; видишь старика, который вырезает из камня крест, — спрашивает ветка, торчащая из калитки; видишь барабан, бьющийся о берег, — говорит последний луч солнца, пробивающийся сквозь кусты над домом; видишь вон то пятнышко в воздухе, — спросил угод, севший на ограду кладбища; ты видишь все вещи, которые ты видел раньше, — спросила шелковица, растущая за алтарем; если ты их не видишь, это не значит, что их нет, — сказала черешня, растущая рядом; ничто не исчезает навсегда, — сказал одуванчик, роняющий пух с церковной стены.

По мере того, как мы старели, мы всё чаще мечтали расчистить остатки дома и построить летний домик с двором, обращенным в сторону деревни. Мы представляли себе две комнаты на чердаке и большую комнату со стеклянной стеной внизу. Когда мы бы сидели на диване, мы бы видели кусты

терновника, разбросанные по холмам, как попкорн; тополя, качающиеся, словно кланяющиеся ветру; птиц, садящихся на бельевую веревку, похожих на ноты на нотном стане; озеро, плещущееся у скал недалеко от Шумана. Мы представляли лестницу, ведущую вниз к церкви, и огород на том месте, где была нижняя комната и печь.

— Давай, по крайней мере, расчистим место, — говорил я перед приездом.

— Расчистим, — говорит жена, — время есть.

— Да сколько у нас того времени. Когда человек нашего возраста оборачивается назад, он точно знает, что у него не может быть столько времени, сколько было раньше, — думал я, глядя на озеро.

На холмах, словно мешки, развешанные на терновнике, виднеются дачки с крышами из оцинкованного железа.

— Камень наверняка из каменоломни, — говорит жена, она ведет машину. — Водит лучше немца, — думаю я. — Держит руль обеими руками.

Я улыбаюсь, как будто нахожусь в автобусе. Вспоминаю:

— Мотор, похожий на черепаху, лежал между водителем и сиденьем справа от него; когда оно было свободно, когда разрешал кондуктор, я сидел на этом сиденье и смотрел, как собираются в стаи птицы, осыпаются маки, как дождь льет на стекло. Вороны убегают последними, — сказал я себе, глядя сквозь лобовое стекло. — Что лучше, быть хозяином времени

или рабом истины, — думал я, зная, что еще не дошел до главного.

В городе я позвонил Миле Пейкуре и нашел его дома.

Хотя была ранняя весна, воздух все еще был ледяным, а небо хмурым, будто закопченным.

Он сидел в кресле у окна и читал книгу в кожаном переплете: «Человек — всего лишь человек. Даже лучшие из людей иногда об этом забывают», — прочитал он, закрыл книгу и стал угощать нас красным вином с копченым мясом. Через некоторое время мы уже говорили о деревне, о наших седых головах, о том, чего у нас нет, а мы думаем, что оно есть, и тут Миле Пейкуре замолчал, глядя на снежинки, падающие на электрические провода.

— Есть что-то в нас, какие-то маленькие существа, определяющие, каким будет цвет глаз, длина пальцев, как будет работать сердце, какие будут зубы... Если спросить их, если шепнуть им, что мы хотим увидеть, как будет выглядеть мир, когда нам исполнится сто лет, они могут выполнить наше желание. Впрочем, не надо их просить, надо требовать, — рассуждает он, глядя на снежинки. — Я не могу быть счастлив, если я здесь для того, чтобы подтвердить, что существует то, что существует, и не существует то, чего не существует. Это видит каждый. Я вижу гораздо больше, — сказал он, подмигивая одним глазом. — Однажды, в подходящий момент, когда придет время, я пойду пешком, ступая, как обыч-

ный, нормальный человек, один в деревню, и ничего странного и необычного в этом не будет, потому что ничто не теряется навсегда.

Я допил вино, попробовал мясо, оно было лучше, чем вяленое, а потом встал и собрался уходить.

— Пойду на кладбище к своим, — сказал я, — зажгу свечу, и мы поедем, а то может занести дорогу.

Он молча надел меховой жилет, который носил в палатке, накинул плащ, который подарил ему Драган Галун после возвращения из тюрьмы, натянул на правую ногу сапог, левой рукой оперся на меня, и мы вместе вышли во двор.

Дверь он оставил открытой.

— Может быть, какая-нибудь птица захочет спрятаться от снега, — сказал он.

В переделанном трехколесном мотоцикле нашлось место для нас обоих. Он сел на резной стул, а я на ящик для газет рядом с ним.

Мы медленно поднялись к церкви и выехали на улицу, ведущую к кладбищу.

К тому времени как мы добрались до могилы, снег уже занес ограды и края надгробий. Ветер, гулявший по кладбищу, сдувал его с крестов. Я отворил калитку и побежал купить свечи в хибарке у входа. Когда я вернулся, кресло Миле Пейкуре было пустым. На снегу, падавшем все сильнее, виднелись следы, ведущие к новой части кладбища.

(стоит ли переписывать все это снова)

Я шел по ним до холма над виноградниками: правая нога — левая нога, правая — левая, след за следом отпечатки уходили по девственному простору за горизонт; обычные следы человека в обуви с глубоким рисунком на подошве.

— И за горизонтом есть горизонт, — сказал я себе, спускаясь на кладбище.

В натиске непогоды вьюга все еще крутилась вокруг трехколесного мотоцикла, навевая сугроб, опирающийся на подлокотники.

— Как всё это произошло, когда случилось, — думал я, глядя на снежинки, падавшие на бронзовые надписи, поворачивая время назад.

Снег перелетал с одного конца кладбища на другой, пластался заносами, не встречая никаких препятствий на своем пути, кроме птиц, разносящих его на крыльях, но оставляющих при этом чистым и белым.

Я зажег свечи, поставил их перед иконой и склонил голову.

Пусть ветер доскажет эту историю до конца.

Македонская критика о романе

Блаже Миневский — исключительный македонский прозаик: его сатира может, как у Зощенко, доходить до гротеска, граничащего с бурлеском. Противовесом этой иронически-сатирической грани его прозы служит настоящая симфония того, что напоминает то магический реализм Маркеса, то интеллектуальный лабиринт Борхеса, то откровенный абсурд Эжена Ионеско. Миневский — прозаическая фигура редкого европейского формата.

Венко Андоновский,
писатель

Роман, который читается с огромным воодушевлением и эстетической радостью. Шедевр поэтической живописи, жизнерадостности и достоверности. «Фантомная стопа» — поразительное творение, впечатляющее и лексической свежестью, и мастерством описаний, и тем, как рассказывается история. Правдивость рассказа одновременно с метафоричностью центральной идеи делают этот роман выдающимся произведением. Особенно завораживает повествование, которое ведут предметы, растения и минералы, с помощью которого мы фиксируем жизнь такой, какой она помнит нас,

а мы ее забыли. Мастерский роман о существовании вне существования.

Митко Маджунков,
писатель

Сказка прекрасного и неповторимого воображения. Книга, которую может создать только великий мечтатель, волшебник слова. Роман с неповторимым стилем, прекрасными мыслями, богатой лексикой, прекрасный образец македонской прозы.

Божин Павловский,
писатель

Роман-шедевр, который должны читать на всех меридианах и на всех языках мира. Чудесная история, вызывающая слезы и смех. Произведение македонского автора мирового уровня.

Йордан Плевнеш,
драматург

Роман «Фантомная стопа» — блестящее многослойное произведение, принадлежащее к лучшим образцам македонской прозы.

Раде Сильян,
поэт и издатель

Содержание

Блаже Миневский

Роман о существовании вне существования 5

ФАНТОМНАЯ СТОПА 9

Македонская критика о романе 269

Литературно-
художественное
издание

12+



Миневский Блаже

ФАНТОМНАЯ СТОПА

Художественный редактор Т. Н. Костерина
Оператор компьютерной верстки А. И. Седяева
Оператор компьютерной верстки переплета В. М. Драновский
Технолог М. С. Кырбаш

Подписано в печать 10.06.2022
Формат 84×108/32. Печ. л. 17,0.
Тираж 1000 экз. Заказ № 492.

АНО «Институт перевода».
Николаямская ул., д. 1, Москва, Россия, 109240
тел. (495) 915-33-05
e-mail: info@institutpervoda.ru

ООО «Центр книги Рудомино».
Николаямская ул., д. 1, Москва, Россия, 109240
e-mail: rudomino@libfl.ru; www.facebook.com/CentreBook.
Отдел реализации издательства: +7 (495) 915-31-00

Технологическое сопровождение
и допечатная подготовка ООО «Бослен»,
e-mail: info@boslen.ru, www.boslen.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в АО «ИПП «Уральский рабочий»
ул. Тургенева, д. 13, Екатеринбург, Россия, 620990
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

